

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **В** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Алексей
Черкасов

ХМЕЛЬ

Сказания о людях тайги

« А З Б У К А »



Сказания о людях тайги

Алексей Черкасов

Хмель

«Азбука-Аттикус»

1966

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Черкасов А. Т.

Хмель / А. Т. Черкасов — «Азбука-Аттикус», 1966 — (Сказания о людях тайги)

ISBN 978-5-389-11215-5

Роман «Хмель» – первая часть знаменитой трилогии «Сказания о людях тайги», прославившей имя русского советского писателя Алексея Черкасова. Созданию романа предшествовала удивительная история: загадочное письмо, полученное Черкасовым в 1941 г., «написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком», послужило поводом для знакомства с лично видевшей Наполеона 136-летней бабушкой Ефимией. Ее рассказы легли в основу сюжета первой книги «Сказаний». В глубине Сибири обосновалась старообрядческая община старца Филарета, куда волею случая попадает мичман Лопарев – бежавший с каторги участник восстания декабристов. В общине царят суровые законы, и жизнь здесь по плечу лишь сильным духом... Годы идут, сменяются поколения, и вот уже на фоне исторических катаклизмов начала XX в. проживают свои судьбы потомки героев первой части романа. Унаследовав фамильные черты, многие из них утратили память рода...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-11215-5

© Черкасов А. Т., 1966
© Азбука-Аттикус, 1966

Содержание

Напутное слово	6
Крепость	8
Завязь первая	8
Завязь вторая	33
Завязь третья	46
Завязь четвертая	65
Завязь пятая	98
Завязь шестая	111
Завязь седьмая	131
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Алексей Черкасов

Хмель

© А. Черкасов (наследники), 2016

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Полине Москвитиной

Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел Сказаний, вместе работали, переживали горечи неудач и счастливые минуты восторга, без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать Сказаний о людях тайги.

Алексей Черкасов

Напутное слово

Было так...

1941 год, канун Октября. Напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного, что должно произойти не сегодня завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро, после того как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам; шли напряженные бои за Москву...

В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки Подсиней, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне. Я читал его и перечитывал и все не мог уразуметь: о ком и о чем в нем речь? И что за старуха пишет в таком древнем стиле:

«Вижу, яко зима хочет быти лютой, сердце иззябло и ноги задрожали. Всю Предтечину седмицу тайно молюся, чтобы сподобиться, и слышу глас Господний. Время не приспело и анчихрист Наполеон у град Москвы Белокаменной на той Поклонной горе, где повстречалась с ним малою горлинкою несмышленной, и разуметь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибелъ будет. И лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...»

Вот и пойми: «Лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...» И что за малая горlinkа, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло сто двадцать девять лет!..

Письмо было большое, написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «письмом с того света». Под письмом стояла подпись: «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсиней у Алевтины Крушининой».

Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск, заехал я в деревушку Подсинюю и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых окошка, завалинка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея.

В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки – похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки – лет семи и шести. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок.

– Мамы нету. Она на ферме, – предупредительно сообщила девочка постарше.

– Ну а бабушка Ефимия у вас проживает? – спросил я.

– Вон она, на печке дрыхнет, – выпалила старшая.

В избе было довольно прохладно. Я спросил: где же их отец? Мальчонка скороговоркой сообщил:

– Папку вбили фашисты на войне.

Разговор с ребятенками потревожил бабку Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи...

Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос пригнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепахано морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила:

– Кто же за меня напишет? Сама. Сама. Анчихрист, анчихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет.

Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочалась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала:

– Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское – в Сатану вмещается; Саулова – в Саула, Исавова – в Исава. Рече про Гитлера, а он – сатано Наполеон. Видала я его, треклятого. Ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает. И губы, яко скарედные, продольные. Не брыластый. Нет! Брыластые добрые.

Старуха пояснила: «брыластый» – толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину.

Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, и она еще раз подтвердила:

– Как же, как же. Как вот с тобой теперь. Ближе даже.

– После Наполеона, бабушка, много воды утекло!

– Много, много. И воды, и грязи. И морозы были. И тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне. А я живу, мучаюсь и не зрю века. Ох-хо-хо!

Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет.

– Да вот с Предтечи сто тридцать шестой годок миновал. Год-то ноне от Сотворения... Зажилась, должно. Аще не днесь, умрем же всяко. И рече Господь: ходяй во тьме, невесть камо грядет. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле.

– И паспорт у вас есть, бабушка?

– Лежит, лежит пачпорт. Не мне – на ветер дан. На пришлых да встречающих. Покажу ужо. Покажу. Глянь. Глянь...

Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения – 1805-й!

Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в Сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и красивые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой я встретился тогда в избушке?

«Я так вижу», – сказал один большой художник.

Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами – не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь.

Особенно памятной для меня была быль, рассказанная дедом, Зиновием Андреевичем Черкасовым, о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом.

Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, покуда не вылились в романах Сказаний.

Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев Сказаний! Увидит ли их такими же взыскательный читатель?..

Крепость

Сказание первое

*Сторона-то ты, сторонюшка,
Далекая, сибирская!
Лесами ты богатая,
Зверями непочатая,
Народ в тебе, сторонюшка,
Со всей России-матушки:
С Волги, с Дона тихого
Шли люди, духом смелые,
Удалью богатые!..*

Завязь первая

I

Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. «Тринь-трак, тринь-трак», – слышались кандалные звуки.

Степь и степь...

Как моря синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли – кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов.

Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому или упадет и никогда уже не подыметься.

Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнушиеся, тяжелые, затрудняли движения колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица.

Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога – и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала.

Третьи сутки тащилась лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне и, когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и усакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даваться в руки, – так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием: скорее добраться до пресной воды – к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице.

Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет, жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока.

Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустыньность, и не было ей конца-края. Куда ни кинь взор – всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие; никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утиhalo, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт; проезжали государевы почтовые кибитки; скакали на четверках фельдъегеря с форейторами; плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу; тарахтели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь.

Степь и степь!..

«Тринь-трак, тринь-трак», – вызванивали цепи.

Голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине – знак государственного политического преступника – покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми; на щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа; кудрявая борода золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутья и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандадную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандадные кольца были наглухо заклепаны.

Озираясь, колодник испуганно пробормотал:

– Курган! Опять тот же самый курган... О господи, в пятый раз выхожу на это же место!..

Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый?.. Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок.

Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев».

Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись: никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал... Клянусь девятью мужами славы, то был он! – вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. – Или опять показалось? Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас – Сукина...»

Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча:

Царь наш – немец русский,
Носит мундир прусский...
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
Трусит он законов,
Трусит он масонов...
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
Только за парады
Раздает награды...
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!
А за правду-матку

Прямо шлет в Камчатку...
Ай да царь, ай да царь!
Православный государь!

«А за комплименты – голубые ленты», – вспомнил еще и, подняв голову, похолодел: будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве – Санкт-Петербург, Сенатская площадь... Та самая! И Медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы.

– Боже, боже... – простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. – Я вижу, вижу!.. Неву вижу! Шпиль вижу! Крепость!..

Вот она – Нева, северная жемчужина славян, счастье водное. Вот она, совсем рядом. Иди же, колодник, и утоли жажду. Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за Каменным поясом – Уралом. Нева, Нева!.. Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды?..

Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве.

– Я же видел, видел! – воскликнул он, с ужасом глядя на необозримую степь: уж не лишился ли ума от жажды? Он знает: в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?..

Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль.

В больном воображении проносилась одна картина за другой – и так явственно, точно все происходило вчера.

Улица города Ревеля... Он спешит к прохладе и пьет, пьет и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за тридевять долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду?.. Страх сковывает его: он боится поднять голову – опознают... И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо:

– Мичман Лопарев!

Он не успевает ответить: перед ним жандарм.

– Вы арестованы.

– Пить... пить. – Он облизывает губы.

Жандарм сухо отвечает:

– Нет для вас воды, нет для вас моря, а есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом, и вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!

«Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там – к Юлиану Сабинскому, к Ядвиге, – подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. – Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания, нет! Ты слышишь, Ядвига?...»

Черные, ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же – чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан... Лопарев и Ядвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино; на улицах Варшавы гроза и дождь.

Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева:

Ревела буря, дождь шумел;
Во мраке молнии летали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,

В стране суровой и угрюмой,
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой...

Ядвига спросила:

– Кто такой Ермак?

Он ответил.

Ядвига печально промолвила:

– О matka боска! Только бы не Сибирь. Мне страшно за всех вас. Только бы не Сибирь!

– Ядвига! Ядвига! Где ты? – зовет он в исступлении.

...Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться...

– О боже! Конец мне, конец... – стонет колодник, прижимая лицом ковыль.

Где теперь Ядвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья?

Он никого не предал, никого не назвал...

– Ты сгниешь в тринадцатой камере, жалкий мичманишка! – рычит генерал Сукин.

Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Камера с голосами призраков...

Колодник слышит пронзительный крик:

– Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!

– Не было, не было сообщников... – стонет он. Но... чу! В уши бьет материнский голос:

– Сашенька! Сашенька! – Не голос, а мученическая мольба израненного сердца. – Что ты наделал, Сашенька! Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив – простит. И я буду молиться. Закружили тебя бесы...

«И я закружился в проклятой степи, – с горечью подумал колодник. – Бесы закружили, видно: в пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так – кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем?..»

Руки матери теплые, желанные.

– Сашенька...

И сразу же, как в пекло головой: лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышевым.

Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается:

– Смею спросить: кого же вы прочили в Буонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-Апостола? Кого же? Я, смею заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозванного императора Франции. И вот – конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось... Кого же вы готовили в Буонапарты?

«Нет, нет, нет! – стонет колодник, выдирая руками ковыль. – Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили...»

«Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив – простит...»

– О боже!

Он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. Перед ним – все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.

II

Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита к двадцати годам каторжных работ и к вечному поселению

в Сибири, три года отсидевший милостью царя в Секретном Доме Петропавловской крепости, – бежал с этапа...

Седьмого июля 1830 года этап остановился на привал у гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом: войдешь – и потеряешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопаревым, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток.

Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» – будто слышал Лопарев чей-то голос.

Бежать... Берегом озера, подальше в степь от своей злосчастной судьбины! Думалось: верст десять – пятнадцать пройти степью, а там...

И Лопарев ушел.

Всю ночь брел под дождем, неведомо куда; с рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера – солоноватые, горькие, но Лопарев не брезговал, утолял жажду и все шел, шел...

На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий.

После грозы и дождя наступил иссушающий зной.

Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, а от необоримой жары сохнут даже глаза?

Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень. Глянул кверху – орел! На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неистово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще уже из последних сил, и потом, когда окровавленная птица рухнула наземь, долго топтал ногами ее бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка вплетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой...

В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения: то мерещилась ему тринадцатая камера Секретного Дома; то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томила жажда; то чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус...

О Ядвига, Ядвига!..

Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Ядвига, Ядвига... Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились. Как и что произошло, Лопарев не знал.

Возвращаясь с прогулки, уже после размолвки с гвардейцем, Ядвига подвернула ногу. У самой тропки, которой начинался подъем на Бештау, Лопарев услышал зов о помощи.

«Я бежал на этот голос, словно олень, – восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. – Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Ядвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядел я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем. Потом я увидел лицо Ядвиги: в слезах оно было прекрасным! Ее локоны ниспадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, и, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча сладостное сердцу имя.

„Нога... О матка боска! – со стоном проговорила Ядвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. – Помогите ж мне!“

Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Ядвига смотрела на меня, смигивая слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. Да, я знавал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста. „Он обидел вас, пани?“ – спросил я. Губы ее дрогнули. „Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать з мною!“ – со злостью выговорила Ядвига, и я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые москвиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал: „Россия не виновата, пани. Цари – еще не Россия. Разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами... Так и у нас в России будет: настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут...“

Что я еще говорил?.. Ах да, – о ней, о ее красоте... Говорил о своей матери: она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции, в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда: о свободе народной они говорили, о революции, о конституции... Правда, я и словом Ядвиге не обмолвился ни о Северном, ни о Южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием.

Как удивилась и обрадовалась Ядвига. „О matka боска! – воскликнула она, сжимая мои руки. – Увижу ли свободную Польшу?!“ И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся.

А теперь... Так много времени прошло! Но я не забыл ни Ядвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Ядвига – все это слилось в одно целое.

Даже в стенах Секретного Дома, с глухонемыми надзирателями, ее образ не покидал меня. Ядвига была утренней и вечерней моей звездой. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час жизни моей, в этой безводной сибирской степи, я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса: „Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить, видит Бог, говорю правду...“

– Ядвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту... Ты слышишь, Ядвига, меня не сломили... И снова готов идти той же тернистой дорогой. Слышишь?

Безмолвие и тяжкая, тяжкая ночь...

Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплы и пахучи, а вся ты – невесомая, жаркая... О, как хотелось бы, чтобы это повторилось...

И все-таки ты не могла понять меня до конца: я не мог стать католиком, как ты хотела. И не потому, что я православный, – совсем нет: наша религия одна – на плаху венценосцев, свободу народам! Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня?...»

Но кругом то же безмолвие и тяжкая ночь...

После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море.

Он опять с Ядвигой – там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды. Но он, колодник, несет на руках Ядвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладой, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода!

Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет за ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр, – шепчет Ядвига. – Пусть она будет с нами. Но куда же мы? Куда идем?» И глаза Ядвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания.

«Мы будем идти дальше, дальше! – бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. – Ядвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше...»

Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть себе Ядвигу и движение, движение по каменистой тропе... Он, колодник Лопарев, должен встать и идти... «Но что теперь в том... Настал конец. Мой конец, Ядвига! И если я погибну здесь, помни: тебе завещаю жизнь и счастье.

Жизнь и счастье...»

III

Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам: может, снова видение?

Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем, и тут, в утренней свежести, почудилось, будто лают собаки.

Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком...

И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал: «Люди!» Но было тихо. Темнел лес, – не мираж ли? Нет, зримость! Воды, воды, воды! – это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все сгорело и обуглилось.

Воды, воды, воды!..

Накинулись лохматые псы. Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей – один другого старше; двое тощих и длинных, – в посконных рубахах до колен, в войлочных котелках, – сивобородые, угрюмые; третий – согбенный, кривоносый, с реденькой белой бородкой и босой; к правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи.

Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями.

– Эко! Человеке Бог послал, – сказал длинный старик.

– По ногам и рукам закованный! Беглый, должно, – дополнил другой, длинный. – Каторга!

Кривоносый же фыркнул:

– Откель те ведомо, праведник Тимофей, што зришь человеке, а не Сатано в рубище кандальника?

– Спаси и сохрани! – перекрестились двое.

Лопарев поднял голову: сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась.

– Воды, воды, воды!..

– Сатано и в багрянице является, – продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника.

– Также, праведник Елисей! – поддакнул один из старцев.

– Ноне судному молению быть, – напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. – Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух? А? Спаси и сохрани, Господи!..

Все трое истово осенили себя ладонями, отплеываясь от нечистого духа.

– Пить, пить...

– Ишь как вопиет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в геенну огненну свергнуть праведников. Беда будет! Беда!

– Спаси Христос! – поддакнули двое.

– Аз же хвалу Богу воздав, вопрошаю нечистого: хто такой будешь? – уставился Елисей. – Сказывай! Крест наложи на чело свое. Ну-ка же?

Лопарев перекрестился тремя перстами.

– Сатанинским кукишем осенил себя!

– Нечистый дух!

– Святейшего батюшку позвать надо...

– Да, чтоб никто из правоверцев не зрил нечистого, – напомнил Елисей. – Грех будет.

– Грех! Грех!

– Осподи помилуй!

– Пить... ради Бога! – Лопарев уперся локтями в землю.

– Изыди вон! Изыди, изыди!

– Нету для тя воды, нечистый дух! – затрясся Елисей. – Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правоверцев не совратить тебе, нечистый! Изыди! В геенну кипучу! Вон, вон!

– Батогами гнать надо, праведник Елисей! – подсказал кто-то.

– Пусть благодный батюшка Филарет глянет – тогда погоним, ужо. Топтать будем, ужо. Пинать будем, ужо. Также славно будет Иусе многомилостивому, Иусе пресладкому, Иусе многострадному! Аллилуйю воспоем на всенощном моленье.

– Воспоем, воспоем!..

Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого.

– Благодный батюшка Филарет идет со старцами, – сообщил Елисей и опустился на колени; двое других сделали то же.

– Люди! Или вы глухи? Помогите же! – тщетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги.

Сутулый, тщедушный Елисей торжественно затянул:

– Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель, благодный и пресладкий, спаси нас от погибели!

Двое, бородами касаясь земли, разом подхватили:

– Спаси нас! Спаси нас!

Елисей воздел руки к небу.

– Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш и яко Спаситель, оборони от нечистого! Сатано приполз к становищу! Рога зрил; хвост зрил; огонь из горла исторгался, и смрадный дым шел. Аминь!..

Лопарев окончательно сбился с толку. О каком Сатане плел старикашка? И что они за люди? Будто мужики, и на мужиков не похожи. И кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подыматься с земли и тут увидел, как двигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет.

Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой; на белой рубахе до колен искрилась такая же белая аршинная борода: поверх нее лежала толстая золотая цепь – увесистый осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам; длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, – точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы. И такой же горбоносый.

– Кого Бог послал? – подойдя, спросил он. – Подымитесь, праведники. Спаси вас Христос.

– Спаси Христос, батюшка Филарет! – поднялись праведники, крестясь.

Старец грозно огляделся:

– Где зрите Филарета? Али у алтаря, на моленье? Из памяти вышибло, должно? Не вижу Филарета, старца. Игде он?

Старики испуганно переглянулись.

– Нету, нету! – подтвердил догадливый Елисей. – Бог даст, увидим. На моление увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету.

– Аллилуйя, аллилуйя! – воспели бородачи.

Старец стукнул посохом, сердито напомнил:

– Когда явится к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого Бог послал – сказывайте! – кивнул на Лопарева.

Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандаляника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел.

– Также. Также, – поддакнули старики.

– Православный я! Православный! – не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. – Я православный, русский...

Старец с посохом ворчливо ответил:

– А мы – люди Божьи. Не русские и не православные, а праведные христиане.

– Куда ж я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба. Люди!... – путаясь в словах от слабости, бормотал Лопарев.

– Никоновой щепотью молишься? – уставился на него старец. – Стал-быть Анчихристу молишься. Иуда брал соль щепотью, а никониане, собакины дети, купель Божию щепотью осеняют. Спасителя Иисуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За семнадцать праведных поклонов – четыре бьют; усердие Богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме Божьем поют три раза, а не два, как по старой вере. Оттого и погибель будет.

Он тронул посохом кандалы:

– За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А Бог, Он все видит и слышит.

– Воды! Хоть глоток воды!...

Подумав, старец оглянулся на мужиков:

– Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего, пришлого с ветра. Живо мне!

Один из мужиков побежал. Старец опустил на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах.

– Эко! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да цепи люди симут. Вольным будешь, ежели скажешь, пошто закован.

– За восстание закован. Царю Николаю не присягнул.

– Царю-анчихристу?! Дивно! За восстание, говоришь?

Лопарев полагал: вся Русь знает про то, что свершилось 14 декабря. Но старец про восстание ничего не слышал.

– В самом Петербурге? Тихо, Божьи люди!

Лопарев сказал, что часть войска в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю, царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицрутенами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибирь. Офицеров не били шпицрутенами, но пятерых повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибири, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман, доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в Секретный Дом, и что он бежал с этапа, плутал по степи и вот вышел к ним...

– Много ли солдат забили палками? – спросил старец.

Лопарев числа назвать не мог. Должно, много.

– Праведный ты человек, кандаляник, коль на царя-анчихриста топор поднял. На плаху бы царя-то, на плаху! – одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. – А мы-

то ни слухом ни духом не ведали про восстание!.. Помогите, мужики, человеке и отведите к Мокеевой телеге. Живо мне! Не дам тебя в обиду, раб Божий. Хоть и не нашей веры-правды, но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя Господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя-анчихриста, оттого и ушли с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на анчихриста, но не одолел. Слышал, может, про осударя Петра Федоровича? Царствие небесное осударю-батюшке! – Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал: – Подь сюда, Ефимия.

Женщина подошла. Старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил: кипячена ли вода?

– Нет, батюшка. Речная.

Старец вылил воду. Лопарев вскрикнул.

– погоди, сын Божий. Нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри.

IV

Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега.

И вдруг, сразу, промеж двух рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали.

Над степью, за рекой, вставало солнце вполкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степь, и птицы, перелетающие с дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. В поределой роще виднелся пригон для скота, оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до самых бровей, украдкой взглядывая на небывалого человека в кандалах.

Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за Лопаревым, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батоном.

Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассевшись на берегу, курили трубки.

Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое, шуршащее сено под холщовым пологом.

Старец сам подал кружку с кипяченой водой, Лопарев выпил ее одним махом.

– Еще!

– погоди ужо, раб Божий. Который день без воды-то?

– Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган.

– Ишь ты! Нутро перегорело, значит. Сушь, жарища. Не тебя ли Анчихристовы слуги искали третьеводни? При шашках, конные. Наехали на наше становище. Допытывались: не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти. И мы поможем. Как твое имя-прозвание от Бога и родителя?

– Александр, Михайлов сын, Лопарев по фамилии.

– Из барского сословия?

– Из дворян. Мичманом служил, по суду разжалован и лишен всех званий...

Старец что-то припоминал, поглаживая бороду.

– Слыхивал Лопаревых. Когда еще парнем ходил, на барщине хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины?

Лопарев будто испугался.

– Толкуй правду, человеке! Когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой? При военном звании состоял.

Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно «при военном звании состоял»: служил полковником у Суворова. Умер в своем имении на Орловщине.

– Имение-то Боровиковским прозывалось?

– Боровиковским.

– И деревня там – Боровикова?

– Боровикова...

Старец покачал головой:

– С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты именье и три деревни в придачу? Семьсот душ на карту взял! Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой Наум Мефодьев, тоже по прозвищу Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал – два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно за слово и тут же смерть принял. Несмышленищем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой.

– Помилуй, Господи! – разом перекрестились бородачи.

– Господь милует, да зверь год от году лютееет, – проговорил старец. – Стал-быть, земляки мы с тобой, Александра, Михайлов сын. Ишь ты! Земля-то велика, да люди текучие.

Обращаясь к бородачам, наказал:

– Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге. Никто из вас не видывал кандальника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?

– Микула-а-а! – гаркнули в три глотки.

– ...ку-ла, ку-ла-а, – отозвались кочевники с того берега.

Старец плюнул в их сторону.

– Ипеть зыряты, нехристи, собакины дети!.. Мы тут с осени. Травой запаслись для скота, в землю зарылись. Ходоков послали на Енисей-реку. Сказывают: места там как вроде наши, Поморские, лесные. Сын мой на Енисей-реку ушел со товарищами. Вот возвратятся к страде, должно, и мы поедем.

Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках.

– Звал, отче? – поклонился старцу.

– Звал, Микула. Сподобил тебя Господь разбить анчихристовы поковки да в реку Ишим закинуть и плюнуть им вослед трижды. Аминь!

– Нашей ли он веры, отче? – уставился Микула на кандальника.

– Сказывал на молениях: кто подымет топор на царя-анчихриста и на поганое войско, тот нашей веры-правды.

– Благослови, отче, струмент, – склонил богатырь голову.

Старец благословил.

Микула, встав на колени, осмотрел цепи, заклепки.

– Как навек закован.

Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она стоговила взвар из курицы.

– Оно хоша и пост ноне, да человеку подымать надо. А ты, Ларивон, заруби курицу.

– Неможно, батюшка... – попятился Ларивон, в сажень ростом. – Грех будет.

– Сымаю грех тот перед Небом чистым. Молебствие будет – замолим. Ступай с Богом. Руби!

Ларивон поплелся рубить курицу.

Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого «осударя Петра Федоровича», ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев.

– Не одолели мы царское войско втапору, – гудел старец. – Ну да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горячее, и тогда не спастись от гибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на святой Руси. Грядет день, грядет!

Микула одолел последнюю заклепку.

Старец принял от него кандалы:

– Эка тяжесть...

Кандалные цепи кинули в Ишим и трижды плюнули. Микула дальше всех.

Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попотчует кандальника.

– Грех будет.

На что Ефимия ответила:

– Ведаю, батюшка.

– Да чтоб он про то не ведал. Да, слышь: кандальником не зови. И чтоб никто слово такое не ронял всуе. Нету кандальника, был человек с ветра и ушел на ветер.

Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец.

– Говорю: ушел на ветер, и все должны то знать. А покуль поживет под твоей телегой втайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская, поганая.

– Как же мне быть, батюшка? Можно ли никонианина видеть? Срамника?

– И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И Бог обороняет от гибели. Аминь.

– Аминь, – в пояс поклонилась Ефимия.

К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивон наметал наверх полкопны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой – беглый государев преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби.

V

...Все тот же жуткий сон: каменный пол, железная дверь и – тишина. Гробовая тишина. Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головою, услышать человеческий голос!

Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь – но тщетно! Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном.

Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка. Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал, и он чувствует, как цепенеют руки и ноги...

Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним.

Душно и жарко. Ноют плечи и спина. И сушь, сушь во рту. Пить, пить... Когда же он напьется? Где-то он видел реку. Когда и где?

Пахучее, шуршащее сено. Как он сюда попал? Ах да! Бежал с этапа. Плутал по безводью. Неделю, две, месяц? Целую вечность! С ним плелась хромая кобылица с жеребенком. Куда они делись? Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов...

Он схватил себя за руку:

– Боже! Кандалов нету! – И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса, и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микула молча и деловито пилил заклепки...

«Дзззз-дзз-дззз», – пел напильник.

– Царь милостив! Покайся!

Лопарев заскрипел зубами.

Покаяться? Перед царем-вешателем?

И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем близко на Сенатской площади в тот морозный день 14 декабря, и корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал:

– Гляди, Лопарев: вот он, престолонаследник! Жалкая скотина. Видишь, как он озирается? В такую скотину не выстрелит пистолет.

И – не выстрелил. Может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол?..

Потом – картечь. Комья утоптанного снега, крики и стон, и свист пуль.

Они беспорядочно отступили. Кто куда.

«Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось?» – спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель.

Не минуло трех недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышев грозился:

– Ты сгниешь в крепости, жалкий мичманишка!

Еще была одна ночь. Непогодная, мартовская. Лопарева вывели из двора тюрьмы, усадили в черную карету, бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным, и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз свиделся с Николаем.

Царь возвышался над столом.

Генерал-адъютант Чернышев занимал место слева, граф Бенкендорф – справа.

Генерал Сукин представил арестованного.

Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя.

– Сын подполковника лейб-гвардии Михайлы Васильевича? – спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил: – Достойно сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и отечеству, преступные дети.

– Достойно сожаления, ваше императорское величество, – отозвался генерал-адъютант Чернышев. – Еще более нетерпимо, когда избалованные преступники упорствуют в своих показаниях, ведут себя крайне дерзко, стараясь утаить от следствия крамольные связи с сообщниками...

В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по восьмому разряду: его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибири.

Была одна малая зацепка: в июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл пять суток у невесты Ядвиги Менцовской, с которой будто бы поссорился. Менцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, избаловывающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился: подумать только – ездил в Варшаву! Это же все равно что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава!

Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал:

– Назови сообщников в Варшаве! По чьему поручению ездил? С кем ты встречался? Отвечай! – Он ко всем обращался на «ты».

Лопарев молчал.

Комендант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы:

– Отвечайте!

Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил:

– Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить.

– На колени! – ткнул царь кулаком в стол.

– На колени! На колени! – подтолкнул в спину Сукин.

Лопарев вытянулся, как на параде.

– Я отвечаю, ваше императорское величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Ядвигой Менцовской.

Царь хлопнул ладонью по столу:

– Лжешь! Даю тебе три минуты. Только три. Назови заговорщиков в Варшаве! Фамилии!

Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества.

Николай посмотрел на часы.

– Ну что же, вижу, тебе мало трех минут. Очень жаль. – И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. – Я думаю, место сыщется в Секретном Доме?

– Так точно, ваше императорское величество! Можно в тринадцатую.

– Водворите. – И, глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся: – Жалея вас, вашу молодость, Лопарев, я предоставляю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствования в сокрытии преступников. Сожалею. Очень сожалею!..

Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились: он не знал того, что эти мнимые слезы венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе – виселицу...

Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина...

VI

Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в Секретный Дом.

– Тринадцатый номер. В тринадцатую камеру. – Слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал тринадцатым номером.

Никто, ни единая душа не могла проведать о человеке, упрятанном в Секретный Дом. Тот, кто попадал сюда, как бы живьем уходил в могилу...

На столике – кружка, Евангелие и несколько листов бумаги из канцелярии генерал-адъютанта Чернышева.

Каждое утро в четверг, когда вместе с пищей Лопареву подавали три листика бумаги с типографским заголовком, он метался по камере, повторял одно и то же: «Не было сообщников, не было сообщников!» – и писал рапорт в канцелярию Чернышева.

Надзиратели в Секретном Доме не отзывались на вопросы, и Лопарев уверился, что все они были глухонемые. Позднее он узнал, что из Секретного Дома за все существование не бежал ни один узник!

Время тянулось мучительно однообразно. В соседней камере беспрестанно орал сумасшедший. Лопарев потерял счет дням и одичал до того, что и разговаривать разучился...

Тринадцатого июля 1826 года его вывели из камеры, молча кинули парадный мундир, и он оделся.

Над Петербургом зачиналась заря. Лопарев не знал, какое было число и какой месяц. Жандарм принял его от надзирателя Секретного Дома и провел в крепость, а потом на гласис, где находились участники неудавшегося восстания 14 декабря, размещенные по категориям.

– Лопарев! Ты ли это, Александр?!

Лопарев узнал братьев Беляевых – мичманов гвардейского экипажа, хотел кинуться к ним, но жандарм схватил за руку.

Александр Муравьев, корнет кавалергардского полка, помахал ему: прощай, мол, брат!

Никита Муравьев, капитан гвардейского Генерального штаба, составитель конституции, в доме которого на Фонтанке часто бывал Лопарев, стоял в окружении жандармов, безучастный ко всему.

Друзья-товарищи... Но ни поговорить, ни пожать друг другу руки!

Перед глазами маячила виселица с пятью веревками на одной перекладине...

Предутренняя зорька румянила небо. Дымились костры, Лопарев не понимал, к чему это.

Чуть в стороне, поближе к плац-кронверку крепости, в плотном кольце жандармов, стояли пятеро: Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев, Каховский и поэт Рылеев. Неужели?

Страшась своей мысли, Лопарев поглядел на перекладину с пятью веревками. Не может быть!..

Генерал-адъютант Чернышев, гарцуя на коне, подал знак, и началась церемония разжалования и чтение приговоров.

Лопарев увидел, как заслуженный герой Отечественной войны, тридцативосьмилетний генерал-майор Сергей Волконский снял с себя сюртук, увешанный боевыми регалиями, и кинул в костер – не хотел, чтобы жандармы сорвали его. Лопарев намеревался сделать то же, что и Волконский, но не успел: жандарм вцепился в воротник, стащил с плеч мундир, швырнул в огонь.

Весь гласис заволокло чадом сжигаемого сукна.

Затем над головами осужденных стали ломать шпаги.

Чадно и тяжело, тяжело!..

«По высочайшему повелению...»

Зачинался рассвет, но Лопареву казалось, будто над гласисом крепости, над плац-кронверком, где мрачно вырисовывалась виселица, над всем Петербургом с прохладной Невой опускалась долгая ночь, которой никому из них не пережить...

Вечная ночь...

Солдаты били в барабаны. Розовело небо. На золотом шпиле собора вспыхнули золотые лучи...

Не узнавали друг друга в арестантских одеждах.

Желтели на спинах бубновые тузы...

Пятерых построили под перекладиной. Над каждым спускалась пеньковая петля. Тех самых, пятерых...

Лопареву хотелось крикнуть, но он не мог вызвать из окаменевшей груди ни малейшего звука.

Когда трое сорвались – Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский, – среди осужденных на каторгу послышались стоны.

Кто-то крикнул:

– Дважды не вешают!

И звонкий голос Рылеева:

– Я счастлив, что дважды за Отечество умираю!

Генерал-адъютант Чернышев гарцевал на коне...

Лопарев не помнил, как отводил его жандарм в Секретный Дом.

Двери тринадцатой камеры захлопнулись, как крышка гроба...

И опять потянулись дни и ночи... Теперь узнику не подавали в окошечко бумагу с гербом и заголовком и голоса призраков не поднимали с постели.

Позднее, когда погнали этапом в Сибирь на каторгу, Лопарев подсчитал, что провел в Секретном Доме после объявления приговора девятьсот девяносто один день!..

Тяжкая, тяжкая ночь легла над Россией. Неужели на веки вечные?

VII

Лопарев выполз из-под телеги. Вечерело. Солнце закатилось, но было еще светло.

Возле старой изогнувшейся березы, у тлеющего костра, сидела на пне Ефимия, невестка старца, в длинной льняной юбке, закрывающей ноги, в бордовой кофте, с рукавами до запястья, в неизменном черном платке, повязанном до бровей. На коленях у нее лежала раскрытая Библия. У костра возился мальчонка лет пяти, белоголовый, щекастый, в холщовой рубахе до пят. На тагане висел прокоптелый котелок. В трех шагах от костра темнело еще одно пепелище, с печуркой, чугунами и глиняными кринками. Поодаль – еще одна телега с поднятыми оглоблями, со сбруей.

Ефимия до того углубилась в чтение Библии, что не слышала, как выполз из своего убежища Лопарев.

Мальчонка вытаращил глаза на незнакомого дядю и заревел, ухватившись за подол матери.

– Барин! – ахнула Ефимия, закрыв Библию и схватив сына на руки.

Лопарев удивился:

– Чего так испугались? Я не зверь.

– Нельзя вам выходить, барин, – промолвила Ефимия, поднимаясь и пятась к толстой березе. – Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой.

– Батюшка Филарет? – Лопарев не знал такого.

– Старец общины.

– Тот старик, с которым я разговаривал?

– Если что надо, барин, подайте голос. Я буду всегда тут, поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги. Прокипяченная и остуженная. Ужин сготовила вам, только... спрячьтесь под телегу.

– От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков?

– Упаси Бог!

– Чего же мне прятаться?

– Так повелел батюшка Филарет. Чтоб никто из общины не смел зрить вас, разговор вести.

– Почему?

– Верование ваше чуждо. Анчихристово.

– Да ведь вся Русь православная!

– Не вся, не вся! – поспешно открестилась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. – Есть на святой Руси праведники. Есть! Хоть малым числом, да блюдут святость старой веры.

– Старой веры?

– Аль вы не слыхивали, как нечестивый патриарх Никон совратил Церковь с пути истинного? Как он Святое Писание извратил да опоганил? Как на Вселенском соборе попрали ногами праведников и самого Аввакума-великомученика да возвел в чин и благолепие еретиков поганых да мздоимцев жадных?

Нет, Лопарев ничего подобного не слышал.

– От него великий грех вышел, от того Никона. Проклят он на веки вечные.

Ефимия тревожно оглянулась. Кругом – ни души. Тихо лопотала старая береза. Поблизости мычала корова – призывно и долго. Где-то в березняке фыркали лошади. Рядом синела тиховодная река.

Лопарев спросил, что за река.

– Ишимом прозывается, – ответила Ефимия.

– И рыбу можно ловить?

– Ловят мужики. Да нету такой рыбы, как в нашем Студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья.

– Это же очень далеко!

– Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли анчихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общиною в Сибирь.

Лопарев хотел взглянуть на Ишим.

– Нельзя, барин! Нельзя! – перепугалась Ефимия. – Старец разгневается и прогонит. Не гневайте старца! Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега.

– Нехристи?

– Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю, – ответила Ефимия. – Они могут и стрелу пустить.

Лопарев спросил, где же люди, старец.

– Вся община на всеобщем моленье, – сообщила Ефимия. – Малые дети спят. Старухи доглядывают за ними. А так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена. Люди захоронены, которые померли за зиму и весну. Спрячьтесь, барин! Нельзя так стоять-то. Худо будет. И мне и вам...

– Что у вас за община такая строгая?

– Филаретовская община, – вздохнула Ефимия. – Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте. Хлеб там лежит. Я скоро вернусь. Не выходите на берег! Упаси Бог.

Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. Вот так вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?..

VIII

Смеркалось. Покатое небо за Ишимом играло зарницей. Полыхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зарницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа, и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зарница, сибирская, а Лопареву тошно.

Беглый каторжник!..

Велика Русь, а деться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы, а чуть в сторону – темень людская, хоть глаз выколи.

Муторно!..

Ефимии все еще нет. Может, не явится? Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту, Ядвигу Менцовскую, только в ином наряде.

Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью, должно, разыграется гроза.

Послышались шаги. Мягкие, шуршащие.

– Не спите, барин? – Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. – Ужинали?

– Спасибо, Ефимия. Ужинал.

– Тсс! По имени не зови. Если кто услышит – беда мне.

– Как же звать?

– Никак. Нельзя мне вступать в разговор с вами, а... вот пришла. Ну мой грех, мне и ответ держать. – И, помолчав, сообщила: – Да ночь-то сегодня такая – все на судное моленье ушли.

– Судное моленье?

– Тсс! Говорите тише, барин. – Ефимия оглянулась, приглядываясь к лесу: совсем близко фыркнула лошадь. – А мне-то померещилось, будто кто крадется. – И, взглянув на Лопарева,

опустилась на землю. – Видите, не боюсь, барин. Только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму.

– В яму?!

– И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую.

В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смолка на пихтах в июле. Ее что-то беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто не подслушал. Ее волнение передалось Лопареву.

– Что у вас за община такая страшная? – вполголоса спросил он.

– Ой, страшная, барин! Страшная!

– Не зови меня барином. Какой я барин – колодник.

– Про колодника батюшка Филарет наказал, чтоб я и во сне не обмолвилась.

И, вздрогнув, спросила:

– А какое ваше званье?

– Из дворян. Но лишен судом всех сословных званий и состояния.

– Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто?

– Этого я не знаю.

– Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова. Правда ли?

– Не слышал. Я мало жил в имении родителей. С детства в Петербурге.

– А в Москве бывали?

– Бывал.

– Ой! А Преображенский монастырь видели?

Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь.

– А я в том монастыре родилась, – тихо промолвила Ефимия, потупя голову. – Из монастыря того на встречу Наполеона ходила.

– Наполеона?

– Тсс! Потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали! Сколь годков не встречалась с человеком с воли!

– Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено! Какая же это вера?

– Крепость наша Филаретовская. Как Филипповская. Едный толк был.

И вдруг предупредила:

– Глядите, барин, не назовите «осударя Петра Федоровича» Пугачевым. Батюшка Филарет разгневается!

– Да разве он был государем, Пугачев?

– Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем «осударя Петра Федоровича» шел на Москву, чтоб взять престол.

Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал «императрицей Екатериной Алексеевной»... В той же «пугачевской» башне, много лет спустя, заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев: Горбачевский, Барятинский и Спиридонов.

Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай Первый...

Из Кексгольмской крепости было только две дороги: либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу...

Декабристам вышла каторга.

IX

Лопарев спросил, что же такое «Филаретовский толк».

– Тсс! – Послушать надо. – Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась.

– Толк-то? Самый лютый, – начала она. – Выговский Церковный собор порешил, чтоб совершать моления во здравие царя Николая и подать платить, вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора, а с ним Филипп-строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах, а Филарет надумал увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали.

Ефимия вздохнула:

– Батюшка Филарет – наш старец, духовник. Как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует. Вся община под его рукой ходит. И стар и млад.

Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними: никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины – великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложатся в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз – грех будет. Каждый имеет свою посуду: кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак, винную посуду и к чужой не смеет прикасаться – тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиною. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест – на каждом шагу. «Без Бога ни до порога». Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца, духовника.

– На Волге, слышь, приключилась беда, – продолжала Ефимия. – Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отреклась. Тогда ее сожгли на костре.

– Это же, это же... преступление! – возмутился Лопарев.

– Тсс, барин! Сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в Филаретовский толк...

– Уйти можно!

– Ой, барин. Куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из Федосеевского толка. Московского...

По словам Ефимии, Федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы.

Основатели толка – Федосей Васильев и купец Ковылин – выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водою, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустевших домов: старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду: мужчины – кафтаны, отороченные черными шкурками, с тремя складками на лифе, застегивающимися на восемь пуговиц, и сапоги на высоких каблуках, женщины – черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошивами.

Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывезти во Владимирскую губернию; туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Оста-

лись только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной град-столицы, к нему явилась депутация федосеевцев.

– Тогда-то я, барин, и свиделась с Наполеоном, – говорила Ефимия. – В то утро батюшка сказал, чтоб я нарядилась в батистовое платье. Матушка хворала и не могла пойти на встречу. Батюшка мой, Аввакум Данилов, со старцами сготовил подарок Наполеону: быка красного; да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было семь годов, а я все помню.

– Но зачем же быка? – удивился Лопарев.

– Старцы порешили так: бык красный – это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону.

Ефимия тихо усмехнулась:

– Утро стояло моросное, ненастное, а мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними – большущий красный бык – рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой. Сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах. Нарядная! Так и вижу себя в том платье. Брат мой, Елизар, толковал по-французски. Икону Преображения нес, чтобы передать самому императору.

Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им: так вот и так, к императору идем, к Наполеону...

Небо прояснилось, и солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил: «Божье дело, говорит, коль само солнышко проглянуло!»

А какое тут «Божье дело», если мы к басурману на поклон шли?

Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе. И маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил: «Что за депутация явилась из град Москвы?»

Брат Елизар ответил: «Мы – древние христиане, утесняемые царем и никонианской церковью. Пришли заявить вам, государь император, свою верноподданническую преданность и покорность».

Тут и пали все наши старцы на колени. И меня поставили на колени возле пушки. И страх такой: «А вдруг пальнет пушка и смерть будет?»

Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и не от самого царя, не от Кутузова депутация. Слышу: «Кутузов, Кутузов!» А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите.

Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами: как быть? Гнать ли нас аль, может, перебить всех?

Потом опять призвали брата Елизара для разговора. Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смиростивился и принял золото на фарфоровом блюде, и быка того взял.

Вижу, как теперь. Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туго обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает.

Брат Елизар толкует:

«Привечай, сестрица, императора. Да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянная. Чудно! Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юрдивый.

Похлопал меня по щеке, а рука у него духмяная.

Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтоб я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня, как хворую. Хоть я и не была хвора.

В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь. И беда пришла: матушка померла!

В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтоб делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощение, и батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка моя покойная.

– Где же вера-правда, барин? – вдруг спросила Ефимия, и слезы покатались у нее по щекам. – Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Што искали? Зачем приняли французов в монастыре да угощение им устроили? Кошунство одно, а не верованье!.. Потом я думала: нету веры-правды у федосеевцев, хоть родилась в ихнем монастыре и матушка там захоронена!.. Какая же это вера, коль сами старцы блуд Богом покрывают? Не раз слышала, как на молениях старцы наставляли: «Пусть белицы и бабы балуются и родят младенцев, а потом их убивают. Утопят аль удушат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в Царствие Божие». Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке!.. Где же та вера, страх Божий?!

Лопарев не знал того. Спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы.

– Горе было. Стон был, – ответила Ефимия. – Старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата мово Елизара Кутузовы солдаты схватили как изменщиков. Што с ними поделили – не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями да с братьями Юсковыми в побег ударился, в Поморье, к древним христианам. И меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья. Рухлядь везли всякую и золото... Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили...

В Поморье, на реке Лексе, встретили нас чуждо и хотели батогамы бить, да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками. И золотом, и парчой, и бархатом. И меня отец отдал в ихний монастырь.

Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю. Что к чему? Понять не умею. Била меня игуменья да приговаривала: «Изыди, Сатано, из тела белаго, из сердца несмышленного, из крови ретивой!» А какая может быть кровь ретивая у девчонки по девятому году?

Потом игуменья проведала про мою матушку, што она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтоб князь Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. «Не нашего рода-племени, – сказал, – коль на свет произошла от блудницы!» С тем и выгнал из дворца свово.

Помолчав, Ефимия пояснила:

– Это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя упрятала в монастырь к федосеевцам. Преступила волю родителя – позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятье в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома.

Так было, барин.

Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дашковы. Всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мыть заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой к той поре помер, я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а все иголка без нитки.

Жила я в том монастыре до зрелого девичества. Не знала, какая великая беда грянет!..

От малой беды до большой далеко ли? Рукой подать!..

Так и случилось. Тяжко вспоминать...

Игуменья готовила меня в лекариши-монашки, да налетел черный ястреб – и не стало белицы! – загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь.

Х

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А-а-а-а! Ма-а-а-туш-ка-а-а!»

Лопарев поднялся.

– Прячьтесь, барин! Прячьтесь! – прошептала Ефимия. – Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают. На суд поведут.

– На суд? Акулину?

– Тсс, барин! Погубите меня и себя. Спрячьтесь к телеге, Христом Богом прошу!

Лопарев попятился к телеге и сел. Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?

Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву.

– Страх-то какой, Господи! Всю трясет, – проговорила она, зябко скрестив на груди руки. – Это ее когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали, должно. Помогите ей, Господи, смерть принять легкую! – перекрестилась Ефимия.

Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть.

– Беда приключилась, барин. Младенец у Акулины родился шестипалый. На обеих руках по шесть пальцев.

Лопарев не понимал: при чем же тут Акулина?

– По верованию Филарета, шестипалый от нечистого, – пояснила Ефимия. – Акулина хотела скрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтоб окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то она красивая, приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юскова парня. И вот беда пришла.

– Какая же беда? – не унимался Лопарев. – Мало ли рождается на свет шестипалых.

– Ах, барин! Крепость-то наша какая?! Сказал старец: шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. Жалко Акулину-то, да своих рук не подставишь, – горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. – На свете не успела пожить, первого ребенка родила, и вот – смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом, на прогалине, одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся.

– Это же, это же... убийство!

Ефимия испуганно откачнулась:

– Не глаголь так! Иисусе, спаси мя!

Лопарев не унимался. Ругал Филаретовский толк и самого Филарета:

– Сам говорил, что от барской крепости бежал! А в какой крепости людей держит!

– Боже мой, Боже мой! Пощадите, барин! Сынок у меня! – взмолилась Ефимия.

– Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе, – кипел Лопарев.

– Не так, барин! Не так! От веры, а не от тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от гибели.

– Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут!

– Ой, Боже мой! Што я наделала? Зачем сказала?! – опомнилась Ефимия. – Знать, и мне гореть... Аль на тайный спрос поволокут.

Лопарев стиснул голову ладонями, примолк.

И опять в ночи раздался истошный вопль: «Ма-а-ату-у-ш-ка-а-а!..» И эхо покатилося по лесу, отдалось по реке и тихо замерло.

Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моление общины, чтоб защитить Акулину с младенцем.

Ефимия решительно загородила ему дорогу.

– Али вам жизнь надоела, барин?

– Жизнь каторжника недорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем.

– Четырем гореть, значит, – скорбно промолвила Ефимия.

– Почему четырем?

– А как же, барин! Одно слово старца – и тебя скрутят и к той березе веревками привяжут. Спина спиной к Акулине с младенцем. Потом старец учинит мне спрос: не вела ли я греховных речений со щепотником с ветра? И я скажу: глаголала, отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистого родился, а от уродства. И верованье наше лютное, не Божеское, скажу. Тогда

старец подымет два перста в небо и завопит: «Еретичка промеж нас, братия!» И тут схватят меня и к той березе веревками притянут.

Ефимия воздела руки к небу:

– Гореть тогда! Четырем гореть!

У Лопарева опустились плечи и ноги будто чугунными стали, с места не сдвинуть. Одному гореть – одна беда. Но четырем!..

– Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой, – продолжала Ефимия. – В срубах сосновых, со младенцами, с белицами, мужики и бабы жгли себя огнем да еще песни пели радостные. И никто не остановил того огня! Никто не остановил смерть! В три ночи погорело более тысячи душ. Гарью обволокло все Поморье.

– О, тьма-тьмущая!..

– Тьма, тьма! – эхом отозвалась Ефимия.

– Такая крепость хуже тюрьмы.

– Хуже, Александра, хуже! – Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. – Прости мою душу грешную. И я так думаю: не от Бога крепость! Сомненья мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает. Один Бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душей моей, давно бы не жить мне!

Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и гроыхнула гроза глухо, ворчливо.

– Хоть бы дождь пошел да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся!

Судный огонь!..

И Лопарев будто въявь увидел перекладину с пятью веревками на плац-кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное, погожее утро! Ни Небо, ни народ, ни царь!..

– Не убивайтесь так-то. Жить надо.

Жить? В такой вот крепости или где-то в Нерчинской каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь?! Во имя чего такая жизнь?

Ефимия толковала свое:

– Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым да безголосым. Польза будет. Старец скажет мне, чтоб я лечила вас от хвори. Я одна лекарша на всю общину! И травы целебные знаю, и снадобья готовлю. Только бы не возвратился скоро Мокей, муж мой постылый. Крепость моя горькая и тяжкая!

Лопарев отошел к телеге и сел, беспомощно сторбившись...

Грозовая туча пологом нависла над Ишимом. Сверкали молнии, но дождя не было.

Лопарев вспомнил стихи Кондратия Рылеева:

И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

И вот в третий раз над лесом и темной степью пронесся нутряной вопль:

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Спа-а-а-си-те-е-е!.. Спа-а-а-си-те-е-е!..

Тревожно заржали лошади и залаяли собаки.

Ефимия отскочила к старой березе и там спряталась.

Лопарев сжался, скрючился в три погибели. Зубы у него мелко и противно постукивали.

Из края в край плескалось:

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-а-а-а-а-а... Спа-а-а-си-те-е-е!..

Судная ночь!..

Лопарев зажал уши ладонями и уполз под телегу.

Под утро он и без притворства захворал.

XI

...Неделю Акулина с шестипалым младенцем сидела в глубокой яме под строжайшей охраною старцев-пустынников, помощников Филарета.

Раз в сутки в яму подавали кружку воды и ломтик черного хлеба.

Старцы караулили: не явится ли в яму нечистый, чтоб повидать блудницу?

Нечистый так и не явился. Должно, убоился праведников-старцев, посвятивших всю свою долгую жизнь Господу Богу и ни разу не осквернивших себя близостью с женщинами.

Акулина знала: ее ждет судное моление...

День и ночь молилась святым угодникам...

Одному из старцев, Елисею, будто бы привиделось, как среди ночи к яме подполз дым. Откуда бы? Неведомо. Знать, дымом объявился нечистый дух да сиганул в яму к Акулине-блуднице. И она приняла его втайности, миловалась с ним, окаянная, а узреть тот грех нельзя было: нечистый напустил сон на старцев.

Вся община потом ахнула:

– Гореть, гореть блуднице!

Ларивон, сын Филарета, и кузнец Микула вытащили Акулину из ямы. Ноги у нее до того отекли, что она не могла стоять. Младенец пищал возле ее груди.

Ларивон подтолкнул Акулину:

– Намиловалась с нечистым в яме-то! Ноги не держат, срамница!

– Не было нечистого! Не было! И старцы караулили, – начала было Акулина, но Ларивон прицыкнул:

– Молчай! Гореть тебе ноне, ведьма!

И Акулина завопила...

Ларивон зажал ей рот и при помощи Микулы поволок на судное место.

Моление продолжалось несколько часов. Мужчины стояли на коленях отдельно от женщин.

Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь.

Женщины, особенно старухи, одетые в старинные монашеские платья, какие носили до патриарха Никона, чинно молились, не оглядываясь друг на друга и по сторонам, чтоб нечистый молитву не попутал.

Более шестисот человек старых и малых сомкнулись тесным кольцом вокруг березы.

На самодельном алтаре горели восковые свечи, и старец Филарет читал Писание.

Потом Филаретовы апостолы-пустынники затянули псалмы.

Акулину с младенцем поставили на колени возле березы, и она, так же как и все, истово крестясь, молила Бога о спасении своей грешной души, хотя и сама не ведала, когда и в чем согрешила.

Закончив чтение псалмов, старец Филарет приступил к судному спросу:

– Кайся, грешница! Перед миром древних христиан, какие за веру на смерть идут, на каторгу идут, в Сибирь идут, кайся – как согрешила со нечистым? В какую ночь явился он к тебе в постель и тело взял твое, поганое, непотребное? Кайся!

Акулина воздела руки к алтарю:

– Не было того, отче! Христом Богом молюсь – не было! Помыслами чиста, как и душой своей. Михайла, скажи же! Скажи! – просила она мужа Михайлу Юскова, но тот молчал, со страхом глядя на молодую жену: ведьма ведь!

Тогда старец Филарет предупредил:

– Не покаешься во грехе, не будет тебе спасения на том свете! Геенна огненная поглотит тебя, яко тварь ползучую!

– Не было нечистого, отче! Не было!

– Нечистый дух у тебя на руках, блудница! О шести пальцах, и рога потом вырастут, и хвост!

Община глухо проворчала: «Грех-то! Грех-то!» И одним духом:

– На огонь блудницу со нечистым духом!

– На огонь!

– В геенну огненну!

Старец Филарет поднял золотой осьмиконечный крест:

– От нечистых помыслов твоих, блудница, на свет родился шестипалый нечистый!

Вяжите блудницу! Аминь.

И как ни вопила Акулина, Ларивон с кузнецом Микулой притянули ее веревками к березе.

Шестипалый младенец исходил визгом на руках матери, да никто того визга не слушал: нечистый вопит. Пусть вопит!

С Акулины сорвали платок и одежду. Теперь она предстала перед всеми голая – срамота-то какая! Длинную русую косу обкрутили вокруг березы.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-тюш-ка-а!

Ни матушка, ни батюшка не отзывались на вопль. Нет пощады тому, кто согрешил с нечистым и попрал праведную веру.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Старец затянул длинный псалом «очищения духа от нечистой силы», и все подхватили пение, часто повторяя:

– Аллилуйя! Аллилуйя!

После слов старца: «Да сгинет нечистая сила!» – Акулина завопила во весь голос, обезумев от страха.

Многие попадали с колен – лишились сил.

Ларивон с Микулой поспешно обложили Акулину с младенцем сеном и хворостом.

Старец поджег сено от свечи.

Сухое сено и хворост моментально вспыхнули. Над темным лесом поднялся столб пламени.

– Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Перекрывая вопль Акулины, вся община гаркнула:

– Аллилуйя! Аллилуйя!..

Судное моление свершилось.

Завязь вторая

I

Белая борода – не снег, а прожитое лихолетье.

Когда-то Филарет Боровиков был таким же молодым, как и беглый каторжник Александр Лопарев. То и разницы: Филарет возрос в барской неволе, а Лопарев – из барского сословия, жил в холе и довольстве.

Филарет перебивался с куска на кусок. Пять дней в неделю гнул хрип на барщине, а барин Лопарев не ведал нужды из-за куска хлеба насущного, ел, что душе нравилось. Службу нес царскую, в море плавал, тешился.

Когда стало неведомо Филарету Боровикову везти упряжь помещика, он бежал в Оренбургские степи, нашел там пристанище у раскольников-скрытников, покуда судьба не свела с Емельяном Пугачевым, который назвал себя «осударем Петром Федоровичем». Помнит Филарет последние слова Пугачева:

– Сгину я, брат мой во Христе, да не отойду весь на тот свет. И может, Бог даст, из кроушки моей и моих братьев вырастут новые люди, и тогда порубят мечом и выжгут огнем всех царских слуг и насильников! И настанет на святой Руси вольная волюшка!..

Может, далеко еще до вольной волюшки, но вот поднялись же на царя-кровопивца сами дворяне-офицеры. Если бы они кинули народу призывное слово, не устоять бы царю. Рухнул бы трон, а вместе с ним крепостная неволя, и настала бы хорошая жизнь.

Как же поступить с беглым каторжником Лопаревым?

Можно ли приобщить холеного барина к верованью Филаретову? Не порушит ли он крепость?

«Белую кость как ни прислоняй к мужичьим мослам, а все не выйдет единой кости. Две будет: белая и черная».

Задумался старец Филарет. И так кидал неводом мысли и эдак.

Ночь минула тяжкая, судная. Блудница Акулина сгорела, не раскаявшись в грехе. Ладно ли?

«Экая крепость у нечистого, – думал старец. – И огнем не отторгли бабу от него. Как бы худа не было!»

На солнцевсходе старец учинил спрос невестке Ефимии:

– Слыхала вопль блудницы Акулины?

– Слыхала, батюшка.

– И барин слышал?

– Не ведаю, батюшка.

– Где же была? Доглядывала за барином аль нет?

– Барин захворал, должно. Я не посмела спросить. Да и самой страшно было.

Старец недоверчиво покосился на невестку: из веры давно вышла.

У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница! Глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами!

Как ни укрощал Ефимию Мокей, сын Филаретов, ничего не достиг. Схватит, бывало, Мокей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лупит, как сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. «Убей, ирод, а все равно горлица ястребу не пара».

Горлица ли? Еретичка!

Приметил Филарет: после отъезда Мокея ходоком на Енисей Ефимия будто совращать стала несмышленища Семена Юскова – безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался:

парень испортился, радеет перед образами не от души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может, искушала?

«Ох-хо-хо! Ведьма, ведьма! – кряхтел старец. – Прогнать бы из общины аль на судное моление выставить».

Но как же быть с барином? Хоть в оковах появился, а все не мужик, не праведник.

Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев, потом позвал:

– Человеке! Бог послал утро!

Лопарев выполз из-под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледный, и глаза впали.

– Али хворь привязалась?

Лопарев пожаловался: и в жар кидает, и в озноб. И голова болит – глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо – туес воды выпил за ночь, и все мало.

– Бог милостив, – ответил старец. – Лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве имеет. Бог даст, подымет на ноги. Аминь.

II

Ефимия только того и ждала: позволения лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника: грех ведь, не из нашей веры.

Деверь Ларивон поддержал сноху:

– Праведное слово говорит благостная, – прогудел он себе в рыжую бородищу. – Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживаем, паки зверя лютого. Отчего так?

Старец стукнул батоном-посохом:

– Молчай, срамное брюхо! Хаживал ли ты, праведник, в чеши закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрадал барство да дворянство, чтоб свергнуть сатанинский престол со барщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли экое? На зуб клал али мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан и, как Аввакум-великомученик, пойдет с нами к Беловодьюшку сибирскому. Тогда, Бог даст, отдам ему посох и крест золотой...

Содрогнулась община от подобных намерений духовника, почитаемого не менее самого Иисуса Христа.

Пустынники-верижники толковали и так и сяк. Особенно старался в том пустынник-апостол Елисей.

– Грядет, грядет великая напасть! – вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. – Сам духовник в отступ пошел от древней веры – погибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятого под Мокеевой телегой. Курицу жрал, и масло по бороде текло. Откель масло? Еретичка Ефимия оскорбилась!

И – пошло, понеслось среди верижников:

– Не зрить нам Беловодьюшка!

– Нечистый барин, чай, в церковь поповскую поведет, кукишем креститься заставит.

– Ой, худо! Ой, худо!..

Дошел вопль и до старца Филарета. Созвал он на тайное моление в свою избу избранных Богом и самими верижниками верных апостолов и в том числе неистового кривоногого Елисея с гирею на ноге.

Зажгли двенадцать свечей у древних икон, помолились по уставу, расселись вокруг стола духовника, а потом начали разговор.

– Сказывайте волю Иисуса, – потребовал старец. – Глаголь, святой Елисей!..

Елисей вышел на середину избы, опустил на колени и, воздев руки к иконам, возопил:

– Сатано округ рыщет – погибели нашей ищет, святейший наш батюшка Филарет! От барина того гибель будет.

– Также. Также. – Филарет помолился. – Глаголь далее.

– Слыхивали: посох духовника обещан щепотнику? – намекнул Елисей и замер, ожидая слова духовника.

Духовник ничего не ответил. Обратился к апостолу Тимофею:

– Сказывай, преблагостный Тимофей. Кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положили тайну святого Церковного собора? Чьему имени при щепотнике хвалу воздали? Сказывайте!

– Елисей, батюшка Филарет! Он рек имя! Он! – ответил длиннющий апостол Тимофей.

– Бес попутал. Каюсь, батюшка!.. – бухнулся лбом о земляной пол апостол Елисей.

– Тайна на чужой ладони – чья тайна? Сказывайте!

– Июдина, батюшка Филарет.

– Как быть таперича? Гнать ли щепотника со тайною во поле, в сатанинский мир, али у себя оставить да под надзором покедь держать?

Порешили: держать пока под надзором, тем более барин тяжело захворал и, Бог даст... сам преставится на суд Всевышнего. Ну а если выживет...

– Не вводи нас во искушение, Господи! – помолился батюшка Филарет со своими апостолами. – Бог послал искушение – Бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей, сказываю: многими скорбьми подобает войти во Царство Небесное! Если Господь призовет меня – тебе носить посох духовника. Аминь.

Апостол Елисей от такого обещания лишился речи и до того обессилел, что еле выволок ноги из моленной судной избы старца.

Каждый из апостолов невольно подумал: «Настал час для Елисея. Теперь ему надо торопиться аминь отдать. Господи, помилуй раба Божьего!..»

Сам раб Божий едва дополз до своей землянки: хворь будто пристала к старым костям.

Духовник меж тем долго еще после тайного моления со своими апостолами отбивал земные поклоны.

«Смута, смута зреет в общине нашей, Господи! – стонал Филарет, воззрившись на иконы. – От Юсковского становища смута идет; от ехидны Ефимии смрадом тянет! Повергнут июды веру древних христиан и расползутся все по сатанинскому миру, яко поганые крысы по земле. Как едную крепость держать, Господи? Огнем ли жечь еретиков али в реке живьем топить? Еретичку сожгли – во грехе не покаялась. Апостола Митрофана на огонь волокли – глаголал святотатство! Как жить, Господи? Силы нету. Разуменья нету. Праведники во червей обратятся, спаси, Иисусе!.. Дай мне силу и просветления Господнего!..»

Ответа не было. Мерцали восковые свечи; тянуло запахом горящего ладана. Старец тяжело поднялся и вышел из моленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию.

– Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней да чтоб к Веденейке на дух не пускала. Глядите! – погрозил посохом Ларивону и вышел на берег Ишима, где и дождался невестки, давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре со становищем Юсковых.

Ефимия подошла и глаза в землю: не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима. Вскинул глаза на невестку. Ух, до чего же чернущие глаза у искусительницы! Дна не увидишь, сокровенной тайны на крючок слова не выудишь; хитрость на хитрость метать надо.

– Што барин? – спросил. – Полегчало?

– Худо барину, батюшка, – скорбно ответила Ефимия, глядя себе под ноги. – Огнем-пламенем пышет; реченье бредовое. Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет.

Филарет подумал.

– Реченье, глаголешь? Слова слышала?

– Слышала, батюшка. Про восстание говорит, про расправу царскую. Кровавым венценосцем царя называет.

– Глаголь правду! – насторожился старец. – Что узрилась в землю? Не в ногах правда, на небеси.

Ефимия вскинула глаза на старца – черные-черные и ясные, без единой тучки.

Старец сдался:

– Оно так: царь – кровавый венценосец. Праведное слово барин глаголет. Вразумит Господь – с нами будет. Нашу веру примет. Али не примет?

– Не ведаю, батюшка.

– И то! – хмыкнул старец. – Какая болесть у барина? Не ведаешь?

– По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящего...

– Осподи помилуй! – испугался старик и будто ростом стал ниже. – Ежли хворь на общину перекинется – сколь людей стинет!

– Я сказала Ларивону...

– Ларивону!.. Мне ведать надо, не Ларивону. Господи помилуй, беда грядет! Беда! – Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал: – Покель барин хворый – с ним будь неотступно.

– Со щепотником-то! Помилосердствуйте, батюшка!

– Молчай, когда я глагол держу! Не со щепотником, а с болящим без памяти. Неотступно будь с ним. Во общину не хаживай – хворь по праведникам не носи, слышь? Батогами бить буду. И к Марфе глаз не кажи, и к моленной близко не подходи. Ежли барин подымется – моленье будет; грех symем с тебя, и ты очистишься. Еду какую надо – Юсковы подносить будут в твою избу.

У Ефимии будто потемнели глаза.

– Али жалкуешь Юсково становище?

– У меня есть свое становище, батюшка.

– Также. Да в глазах у те узрил сейчас два становища, а понять не могу, которое тебе дороже.

– Всех людей жалею, батюшка...

– Ладно! Сполняй мою волю, – отпустил старец невестку и сам подался провести многочисленных пустынников-верижников с ружьями, без которых немисливо было бы удержать подобную крепость, какую учредили когда-то давно в доброславном Поморье на реках Лексе и Выге.

III

Щепотник Лопарев седьмые сутки не подымался, то огнем горел и беспрестанно просил воды, то закрывался с головою овчинным тулупом, чтоб согреть зябнущее тело.

Ефимия призвала на помощь все свое знахарство, какое познала белицею в Лексинском монастыре. И настоем трилистника поила, и взваром болотной полыни потчевала, и резун-травую, и корнями вилорога, и горячими бутылками обкладывала бариново тело, чтоб из костей ушла остуда. А более всего лечила собственным сердцем, неистраченной любовью, обрызганной с девичества горем горьким да вязким.

Ефимия перехитрила-таки дотошливого и никому не верящего старца: не черная холера, не тиф у барина, а просто лихорадка. После голодного и безводного плутания под солнцем по степи, да еще судную ночь слушал, – из памяти камень вышибет, не то что человека.

Знала: и от лихорадки умереть можно, потому и помогала целебными травами, и верила: одолеет худую немочь, подымет мученика на ноги...

Вокруг стана, сооруженного Ларивоном под телегой, – ни единой души ни днем ни ночью. До того перепугал всех духовник. Ефимии то и надо – побыть хоть неделю-две с человеком, не ведавшим тягчайшей крепости духа...

Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась на приишимскую степь; тучи сплывались на обнимку, и ветер пошумливал шапкою старой березы.

Ефимия долго сидела возле березы у потухшего костра с прокоптелыми котелками. Вечером она потчевала болящего и рада была, что съел кусок пшеничного хлеба из просеянной муки и выпил полкринки молока: для болящего пост – не закон.

«Ноне он в памяти, – подумала Ефимия, зябко кутаясь в теплую шаль с кистями, вывезенную дядей Третьяком из Голландии. – Как спать-то мне рядом с ним под телегой? Али сказать старцу, что болезнь уходит?»

Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня таких же, без крепости духа...

Вынула маленькую иконку из-за пазухи, опустила на колени тут же возле березы и, глядя на восток, помолилась.

«Спаси меня, Богородица Пречистая, – шептала собственную молитву. – Не греховная плоть мучает мя, а сердце тепла ищет; человека ищет; свободы духа ищет. Ведала ли ты, Матерь Божья, как тяжело жить на белом свете без свободы духа? Знала ли ты оковы без железа, которыми выжившие из ума старцы пеленают души людские? Помоги, Матерь Божья, скинуть те оковы, от которых дух каменеет и руки на дело не поднимаются! Молю тебя, Господи! Услышь мой вопль и слезы мои высуши в глазах моих. Аминь!»

Такая молитва словно вдохнула в сердце Ефимии решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала иконку за пазуху и, оглянувшись, прислушалась. Тихо... Слышно фыркание лошадей, сопенье коров в пригоне, да изредка собака взлает.

Тихо...

Облака в обнимку сплываются, а слез-дождя не выжмут, сухие, значит. К погодыю.

Опустилась на колени и полезла под телегу, где можно троим спать. Шурша луговым сеном, подползла к болящему, прислушалась к дыханию: неровное, нездоровое. На ощупь дотронулась головы и тогда уже ладонь приложила ко лбу: жар.

Лопарев застонал, переворачиваясь на спину и сбрасывая с себя тулуп.

– Горит, горит... – бормотал он. – Кругом все горит. Ядвига! Имение горит... Воеводство горит...

– Опять Ядвига! – вздохнула Ефимия.

– Вся Россия гореть будет. Будет. Будет. Слышишь, Ядвига?

– Слышу, – ответила Ефимия, приваливаясь на локоть возле него.

Лопарев будто услышал подлинный голос Ядвиги и быстро переспросил:

– Ты слышишь? Да? Слышишь?

– Слышу.

– Ядвига?

– Я здесь...

– О господи! – облегченно и радостно заговорил он. Ефимия не успела отпрянуть, как он схватил ее за руки. – Ядвига? Твои руки! Твои! О господи! Надо бежать, бежать...

– Лежи, лежи, Александра! Нельзя бежать: жандармы кругом.

– Жандармы?

– Кругом, кругом жандармы, – заторопилась Ефимия, удерживая Лопарева за плечи. – Схватят и в цепи закуют. Душу в цепи закуют, и тогда погибнем.

– Душу?.. – соображал он.

– Самое страшное – душу. Руки и ноги давно закованы, Александра. Цепи на руках и ногах легко носить – ох, как тяжело носить цепи на душе!..

– Понимаю. Понимаю... О господи! Как душно... Где мы, Ядвига?

Ефимия не сразу нашлась что ответить.

– Где мы? Где? – требовал Лопарев.

– Мы далеко-далеко, в девятом царстве, – проговорила она, а у самой сердце слезами умылось: как быть, если барин пришел в сознание?

– Не понимаю. Ничего не понимаю. Такая боль в голове!.. О господи! Мама!.. Что стало с мамой?.. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Она мне сказала: «Бесы закружили, видно». Нет, не закружили, мама! Не вышло восстание: плечо к плечу не держали. Будет другое время – не устоять престолу. Иначе жить нельзя. Нельзя, нельзя!

– Нельзя, Александра, – подтвердила Ефимия.

– Ты меня звала Сашей, Ядвига. Зови Сашей... Как ты меня нашла?

– Нашла, нашла, – отозвалась со вздохом Ефимия. – Ложись. Нельзя говорить громко... Саша. Нельзя.

Он нашел ее руки и порывисто притянул к себе. Ефимию в жар бросило, когда барин стал целовать их, бормоча что-то, а потом сказал стихами:

Вчера был день разлуки шумной.
Вчера был Вакха буйный пир,
При кликах юности безумной,
При громе чаш, при звуке лир...

Ефимия со слезами слушала его голос и не знала, что же ей делать.

– Клянусь девятью мужами славы, мы еще доживем до славных дней России. Доживем, Ядвига!

– Дай Бог! – тихо промолвила Ефимия.

– Бог? Нет, нет, Ядвига! Ни католический, ни православный не помогут нам. Не помогут. Свободу надо брать своими руками. Да, своими!

Ефимия промолчала.

– Голова... голова... О господи!.. – опять застонал Лопарев и опустил на сенное ложе, притих.

Ефимия подождала, пока он уснул, и, не в силах удержать горечь, подступившую к горлу, выбралась на ветер. Хоронясь возле березы, долго-долго плакала. Это была ее последняя ночь «без крепости духа»...

На другой день Ефимия сказала Ларивону, что барину полегчало и он в полной памяти, а потому быть с ним нельзя правоверке. Старец Филарет вскоре позвал ее в Ларивонову избу, выслушал и тогда разрешил навещать барина только днем, с приношением пищи.

На десятый день Лопарев покинул свое убежище, грелся на солнышке и слушал бль старца про поморских праведников.

– Кабы Анчихрист не плутал по царствам-государствам, давно бы люд праведный жил во счастье, со Господом Богом, – гудел старец. – Вот мы спасаемся от греховности одной общиной. А кругом как? Соблазн. Искушения. Погань всякая.

Лопарев не сдержался, заметил:

– Спасение для людей – свобода. Без свободы нет жизни человеку, а есть каторга, в цепях или без цепей – какая разница!

– Свобода с блудом бывает, – возразил Филарет. – Дай свободу слабым да не твердым – и в блуде погрязнут, со червями земляными заодно будут.

– Без свободы человек окаменеет, думаю. Нищий духом станет.

Старец поднялся и ушел восвояси...

Ефимия радовалась. Она так и светила вся, глядя на Лопарева. Это она спасла его от смерти!

И Лопарев сказал:

– Если бы не ты, не жить бы мне.

На что Ефимия тихо ответила:

– Тогда и мне, может, не жить бы, – и тут же ушла – стройная, еще совсем молодая женщина, такая же загадочная и неопределенная, как завтрашний день.

Минуло еще четыре дня, и старец сообщил, что позовет на совет крепчайших пустынных и тогда решат, как поступить с барином: оставить ли в общине, как пришлого, или прогнать, как щепотника.

«Если прогонят, куда идти? – думал Лопарев. – В городе опознают, схватят, закуют и отправят на каторгу. А в деревню пойти – примут ли? Не лучше ли остаться в общине Филарета? Хотя тьма-тьмушая, но люди надежные, кремневые...

Русь! Какая же ты дремучая и непроглядная! А я-то знал Россию петербургскую, невискую, с выходом в Балтийское море, в Европу просвещенную.

И все-таки надо ждать, как сказала Ефимия. Кто знает, может, настанут перемены?»

IV

Августовская ночь прояснилась звездами. Играла, нежила. С берегов Ишима тянуло теплой испариной.

Лопарев лежал возле телеги, думал.

Послышался шорох, будто кто полз. Лопарев оглянулся и встретился с черными глазами – Ефимия!

– Тсс! – Ефимия погрозила пальцем: молчи, мол, – явилась тайно от старца. Подползла к телеге и протянула Лопареву бутылку. – Вино возьми.

– Вино?

Угольные глаза приблизились и заискрились, как две падучие звездочки.

– Што глядишь так, Александра? – И голос тихий, мягкий, как безветренная августовская ночь, и такой же таинственный, обещающий.

– Разве у вас пьют вино? – Лопарев взял бутылку из черного стекла, нагретую руками Ефимии.

Пухлые губы усмехнулись.

– Наше вино – не зелье. На ягодах и меде настоящее. Такое вино все пьют, силу набирают. Зелье сатанинское, аль чай китайский, аль табак бусурманский – того на дух не принимаем. – И, лукаво щурясь, Ефимия пояснила: – Кто пьет чай – спасения не чай; кто табак курит – тот Бога из себя турит; а кто зелье пьет – тот с Сатаной беседу ведет. Аль не так?

– Не думал про то, – ответил Лопарев. – Я и чай пил, и трубку курил, и вино пил крымское и заморское. И водку пил.

– Ой, ой, Александра! – пожурела Ефимия, но беззлобно. – А про спасение души думал?

– Думал, когда сидел в Секретном Доме. Вот, думаю, сгноит меня царь-батюшка в камнях, и куда душа моя денется, коль из каменного мешка и щели нет на волю?

– Грешно так глаголать, – построжела Ефимия. – Потому душа – не тело. Затворы да стены не удержат.

– Куда же она денется, коли и щели на волю нет? Пробьет камни?

– И камни и землю пробьет, если душа живая.

– Может быть. Не думал про то, – уклонился Лопарев.

– А думай, думай, Александра Михайлович! Нонешнюю ночь судьба твоя решается. Жить тебе с общиной аль гнатым быть. Куда уйдешь, скажи? В оковы? Али ждешь милости от царя-сатаны?

Нет, Лопарев не ждет от царя милости. Он его знает. Говорил с ним с глазу на глаз...

– И духовник так сказал пустынникам: барину от царя милости не будет, а потому спасти надо. Да вот пустынники...

– Что пустынники?

– Лютая крепость у них. Ой, лютая! Жен не ведают, потому, говорят, как Ева совратила Адама и со змеем-Сатаной познакомилась, значит, и все жены Сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли.

– Ну а матерей своих тоже пожгли бы?

– Дай волю – пожгли бы. Лютые, лютые старцы! В общине проживают, как истые праведники. Есть которые с веригами и во власяницах.

– Это еще что такое?

– Вериги? Тяжесть на теле. Которые таскают ружья и спят с ружьями или железо с шипами, чтоб тело кололо. А один раб Божий пудовые чурки повешал на себя и таскает их, мучает плоть, чтоб искусу не поддаться. Власяницы вяжут из конского волоса. Рубаха такая. Надевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей, самый злющий; он двадцать лет носит власяницу и ни разу, говорят, не сымал. Тело у него все в струпьях и рубцах. А на правую ногу чугунную гирию привязал, чтоб Сатана не утащил к соблазну, когда глаза спят.

– Разве у него только глаза спят?

– Глаголет так. Телу во власянице не уснуть. Я спытала. Ой, не дай Бог повтора!..

– Зачем же тогда надела?

Ефимия оглянулась, взяла Лопарева за руку:

– А ты сам себя заковал в кандалы?

– Со мною разговор был малый: каторжник...

– И то! А меня возвели в еретички. Потом скажу, Александра, только не уходи из общины. Гнать будут – не уходи. Скажи, что примешь веру Филаретову. И я помогу тебе. Пустынники-апостолы, слышь, собрались у старца на тайную вечерю и в один голос трубят, чтоб прогнать тебя, яко нечестивца. Боятся, как бы старец не отдал потом тебе пастырский посох и крест золотой.

– К чему мне посох и крест? – удивился Лопарев.

– Ой, ой! Сила в них великая, Александра. Тогда бы ты стал духовником общины, как теперь Филарет. И тьма-тьмущая сгил бы в тартарары.

Черные глаза смотрели в упор, настойчиво, призывно, трепетно.

Лопарев смутился и опустил голову: не выдержал натиска.

– Красивый ты, Александра Михайлович, – чуть в нос промолвила Ефимия и опять взяла за руку. – Когда ты в беспамятстве лежал под телегой в лихорадке, я, грешница, трижды побывала у тебя в гостях.

– У меня?! – Лопарев почувствовал, как пламя кинулось ему в лицо.

– Тсс! Где же еще? Рядом с тобой побывала и тулупом тебя кутала, а ты все зяб и звал Кондратия. Дружок твой аль брат?

– Брат по восстанию.

– В каторгу пошел?

– Повешен.

– Помилуй его душу, Господи, и отверзни пред ним врата Господни! – помолилась Ефимия, и звезды ее глаз будто потухли.

Помолчав, спросила:

– Еще глаголал про кобылицу с жеребенком, какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то?

Нет, Лопарев уверен, что кобылица с жеребенком шла и потом орел налетел.

– Знать, знамение Господне! Чтоб не сгил в степи и звери не рвали твое тело, Господь послал кобылицу с жеребенком. Знамение, знамение!

Лопарев не верил, конечно, что Бог послал ему знамение, но не стал разубеждать Ефимию. К чему?

– Раз ночью, – продолжала Ефимия, – когда я крадучись пролезла к тебе, ты в беспамятстве звал мать. И я молила здравия твоей матушке.

Лопарев хотел поблагодарить, но от волнения ничего не мог сказать.

– А вот тут, где сейчас сидишь, на седьму ночь, помню, подошла проведать тебя, а ты... горько так плачешь. Слышу: «Ядвига! Ядвига!» И про Варшаву-город, и про какого-то Никиту. Не ведаю. – И тихо спросила: – Ядвига – жена твоя?

Лопарев поежился:

– Невеста была. Да поругались с ней, еще до восстания.

– Из-за чего поругались? – допытывалась Ефимия.

Лопарев усмехнулся:

– Веру отказалась менять.

– Веру?! Какая же у ней вера?

– Католическая. Римская.

– Ой, ой! Бесовская. Тричасному кресту молятся и Деве Марии, а ведь Христос – Спаситель и Бог наш. Ладно, што поругался с ней, беда была бы. Ой, беда! От христианства уйти, как на огне сгореть. Забудь ее, Ядвигу-то. Из сердца, из души выкинь, чтоб и во сне не являлась. Я еще подумала...

Послышался старческий кашель Филарета. Ефимию как ветром сдуло...

V

Мелководная река воркует, журчит, будто сказку бормочет...

Бурная – камни перекатывает, с ног сшибает. Не река – кипень студеная.

Кипенью начал свою жизнь род Боровиковых...

Сам Филарет в молодые годы баловался силушкой, сноровкой, смелостью и удачью. Емельян Пугачев наградил Филарета кривой турецкой шашкой и четырехфунтовым золотым крестом, снятым с какого-то важного Божьего пастыря.

Осеняя себя двоеперстием, Филарет кидался в самую гущу битвы и рубил, рубил антихристов во имя вольной волюшки!

Не раз Емельян говорил Филарету:

– Помолимся, брат, чтобы укрепить дух и побить ворогов-супостатов, опеленавших Русь железом. Народ в ярме, а бары в золоте да в холе. Нашей кровушкой питаются, а мы слезами исходим.

И они молились. Плечом к плечу. А потом брались за пищали, шашки, за деревянные рогатины с железными наконечниками и бились с царским войском до последнего вздоха.

Не одолели крепость царскую и боярскую – силы не хватило...

Емельяна упрятали в железную клетку и повезли на казнь; Филарету удалось бежать в Поморье, где он впоследствии утвердил свою крепость веры.

С Поморья общиною бежали в Сибирь...

И вот встреча с беглым каторжником, барином...

«Чем же не потрафил царь-батюшка барину? Чего не поделили? Холопов аль добычи и власти?» – думал Филарет.

Он подошел к пепелишу – в белых холщовых штанах и в продегтяренных поморских мокроступах на босу ногу, опираясь на высокий посох с золотым набалдашником.

Огляделся.

Золотой крест тускло поблескивал.

Лопарев впервые увидел старца-духовника такого вот торжественного, важного, как сама вечность.

Минуты три старец к чему-то приглядывался, принохивался, поводя головою.

«Спугнул, должно, ведьму Ефимию, – подумал старец, видя, как барин испуганно сгорбился возле колеса телеги. – Ох, искушительница! Как змея, явится и, как змея, уползет – следа не сыщешь».

Тяжко вздохнул. Грех, грех!

Поверх белой из тонкого холста длиннополой рубахи опоясан широким кожаным поясом со множеством кармашков, где старец хранил часть золотой казны общины.

Дорога дальняя, и золота у общины немало, а живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, и вот на Ишиме соберут урожай, а золото тратят в крайнем случае.

Шурша крылами, на старца налетела летучая мышь и прицепилась к белой рубахе.

– Изыди, тварь!

Постоял возле пепелища, прислушался к чему-то.

– Не спишь, Александра?

– Не сплю, отец.

– Ишь, бормочет Ишим, а ветру нет.

Подошел ближе, поглядел на Лопарева, вздохнул:

– Пустынники порешили, Александра, прогнать тебя из общины, чтоб не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь. В чепи али в землю?

Лопарев не знал, что ответить.

– Также было со мной, когда бежал я от висельников. Войско наше побили, в чепи заковали. А я ушел, Господи помилуй. И познал лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, да не изловлен. Голодом маялся и холодом, покуда пустынник не спас мя.

Стукнул посохом, вознегодовал:

– Спасен был! А ты вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, к еретикам, собакам нечистым! Ох-хо-хо!

Лопарев ничего не ответил: Ефимия научила не говорить лишнего, а больше слушать старца.

– Молчишь? И то! Судишь, должно, старца Филарета.

– За что судить, отец? Поступайте по вашей вере.

– Пустынники насаждают на меня! Пустынники! Погоди уж, Александра. Хвалу Богу воздаю, аз же и благодать будет. Где та благодать, спросишь. Погоди уж. Скажу.

Филарет опустил на лагун с водой, хрустнув хрящами.

– Пустынники глаголют: вера твоя еретичная, а сам ты из барского сословия, чуждый общине. Тако ли есть? Какое твое барство?

– Теперь я каторжанин.

– Ведомо, ведомо! Сам кинул чепи в Ишим-реку. И ты закинь свое барство да дворянство на дно реки текучей, и Бог примет тя, и благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, не знаем сатанинских печатей и списков, какие хотели завести на нас на Волге и в Пермь-городе. Мучили нас стражники, да урядники, да попы бесноватые, чтоб мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы: в срубах огнем себя пожжем, а веры щепотной не примем и царю молитву не воздадим. Сказано бо: и паки пойте в печь идущие!

Старец торжественно перекрестился.

– Ведаешь ли ты, Александра, какой грех творят поганые попы?

Лопарев того не знает.

– Я морскому делу обучался, отец.

– Потому и глаголю с тобой, что ты, под Богом ходючи, Бога не ведал, зело не искушен.

– Не искушен, – признался Лопарев.

– В Писании сказано: падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потекут жесточае. И то! Грады от Бога отступились, погрязли в блуде да еретичестве, оттого и погибель будет! Спасутся истинно верующие. Вот и блюдем мы старую веру. И сказано: своего врага возлюби, а не Божьего, сиречь еретика и наветника. С еретиком мир какой, Александра? Ехидна и погибель! Еретика не исправишь, а себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо!..

Лопарев слушал, присматривался к старцу. Такого Филарета он еще не знал. Неистового, убежденного, непреклонного и уверенного в своей истинной вере-правде.

– Примешь ли ты, Александра, крепость старой веры?

Лопарев содрогнулся. Ему было почудилось, что в ночи опять раздался вопль Акулины...

– Не срыгнешь ли? – спрашивал старец. – Али, может, к царю да к барам-крепостникам на поклон поволокешь нас, праведников?

– Не будет того, отец, – ответил Лопарев. – С вами хоть на край света пойду, если не изловят жандармы.

– Община укроет. По нашей вере так: хочешь помилованному быти – сам такоже милуй; хочешь почтен быти – почитай друга. Богатому поклонись в пояс, а нищему – в землю. Алчущего – накорми, жаждущего – напои, нагого – одень. Бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу – батоном гони, лупи, бо се есть бесовская любовь. Хвально так-то жить! Хвально!

Передохнув, старец спросил:

– Читал ли ты, Александра, Писание по старым книгам?

– Не читал, отец.

– Читать будешь, познаешь веру. Научу ты молениям нашим, погоди. Да вот пустыnnики глаголют, будто глазами зрили, как тебя Сатано подвел к становищу. Скажи, как дошел до нас?

Лопарев вспомнил, как Ефимия сказала ему про знамение...

– Если бы Бог не послал знамение, не дошел бы до вас, отец.

– Знамение?! – Старец вздрогнул от такого слова. – Сказывай, сказывай, человече!..

– Три ночи и три дня кружился я по степи, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос: «Мичман Лопарев!» Глянул вокруг – никого нету. А потом вижу – кобылица подошла ко мне с жеребенком, хромая на переднюю ногу. Откуда взялась? Не знаю. Хотел изловить ее – не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы. И тогда воспрял духом: не один, значит, в пустыне. А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где та кобылица с жеребенком, не знаю.

Старец поднялся и воздел руки к небу:

– Прости мя, Господи, чадо неразумное, в седых власах пребывающее! Как я того не уразумел, Господи! Знамение было, знамение!..

И упал на колени.

– Прости мя, раб Божий, за слепоту мою, коль не уразумел того.

Лопарев не знал, что делать. Старец молится на него и просит прощения.

– Отец, отец, что вы так, – бормотал Лопарев. – Может, то не знамение было, а показалось мне...

Старец замахал руками:

– Молчай, молчай! Не кощунствуй! Знамение было – радость правовеерцам! Аллилуйю воспоем, аллилуйю!.. Кобылица та, хромая, с перебитой ногой, к табуну нашему прибилась, и жеребенок с ней, слышь. Молосный, гнеденький, и спина поранена у того жеребенка. Вот оно диво дивное, Господи! Бог вразумил мя сказать мужикам, чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива!

– Я на нее могу посмотреть?

– Погоди ужо. Погоди, Александра. Диво дивное свершилось, а тут старцы-пустыnnики, какие под именем Христа Спасителя ходят, ересь на меня пустили, собакины дети! Ишь что удумали! Гнать ты батогами, грязью, яко еретика-щепотника! Верижников подбили на то,

слышь. Ах, паскудники, псы вонючие! Погоди ужо, я того апостола Елисея крестом огненным заставлю молиться, и аллилуйю воспоем ужо!

Лопарев догадался: какому-то «апостолу» Елисею – гореть на кресте...

– Пустынники ведь не знали про знамение.

– Молчай, молчай, Александра! Не вводи во искушение, бо сам под Божьим знаменем живешь, яко младенец у титки матери! Погоди ужо. Дай подумать.

И старец Филарет погрузился в думу.

Лопареву стало жутковато: что-то надумает Филарет. Если бы знал, как обернется совет Ефимии, никогда бы не сказал. Чего доброго, человека сожгут да еще и аллилуйю петь заставят!

– Возлюбил ты, Александра, – начал старец, – яко сына родного Мокея, какой на Енисей-реку ушел со товарищами. Плоть к плоти приму ты в общину, потому – благодать Божью принес ты всем нам. Слава Господу! Апостолы порешили гнать тебя батогами да навозом, и грязью, слышь! Погоди ужо! Познают батоги!

Перекрестился, спросил:

– Окреп ли телом, Александра?

– Окреп, отец.

– Можешь ли пройти версты три али четыре?

– Пройду, отец.

– Ладно. Слушай тогда. Восхода солнца ждать нельзя, потому как апостолов надо потрясти! Также надо. Ох, надо!.. Ожирели, собакины дети. Придут гнать батогами, а тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, как они посрамили знамение Господне и узрили нечистого чрез дурные помыслы свои. Скажу-тко, скажу!

Старец погрозил посохом.

– Надумал так, Александра: подыму сейчас Ларивона, и он поведет тебя, сын мой, версты за три к лесу, и ты там спрячешься. Пять дней поживешь там до субботнего моления. В субботу явемся к тебе всей общиной, с песнопениями, со иконами древними и кобылицу ту приведем с жеребенком, слышь. И ты выйдешь из леса, яко праведник Иисуса, и воспоем аллилуйю!

Лопарев ничуть не обрадовался такому торжественному вступлению в общину, тем более если кого-то сожгут.

– Не надо никого сжигать, – попросил Лопарев.

Старец пристально поглядел на него.

– До субботы пять дней, человече. Успеешь обдумать всю свою жизнь от истока до устья. Коль порешишь быть с нами, выйдешь к общине, и служба будет. Не порешишь – ступай себе с миром. Хоть на восток, хоть на запад.

Лопареву ничего другого не оставалось, как принять условия старца.

– Аминь тогда. Стань на колени, благословлю.

Лопарев опустил на колени.

– Теперь пойду будить Ларивона. Хлеба возьмет тебе, кружку там, баклажку для воды, серных спичек, чтобы огонь мог добыть, топор, чтоб в лесу жить.

Старец поднялся, опираясь на посох, постоял некоторое время, глядя на Ишим, пробормотал что-то себе под нос про бесноватых верижников и ушел, шаркая мокроступами.

Послышался подозрительный шорох. Лопарев оглянулся. Ефимия!

– Тсс! Все слышала, знаю, – промолвила полуночница, горячо схватившись за руку Лопарева. – Ой, хорошо сказал про знамение-то!

– Не было никакого знамения, – вырвалось у Лопарева.

– Было, было! – шептала Ефимия. – Верить надо, Александра, коль под Богом ходишь.

– А потом Елисея на кресте сожгут?

– Елисея-апостола?! Ой, кабы сожгли! Не старец, а лешак, чудовище поморское. Он бы тебя первый батоном ударил по голове, и ногами бы топтал, и грязью бы кидал! Кого жалеть-то! Не пустынный, а ехидна трехглавая! Слушай, Александра, не думай от общины уйти – сгинешь. На каторге али в цепях. В общине твое спасение. Не один Филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо. Может, позовет старец. Не уходи же, не уходи! Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди!

Лопарев не успел собраться с духом, как Ефимия уползла. До чего же она проворная, бесстрашная и ловкая! Что сказал бы старец, если бы застал сноху возле телеги, жаркожимающую руку будущему праведнику Иисуса?!

VI

Явился Ларивон. Молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батоном в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь, прогудел в бороду:

– Пошли, што ль, барин.

Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо и ни разу не споткнувшись, и не оглядываясь на неловкого барина.

Шли часа три, не менее.

Слева – пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу – травы по пояс. Шелестящие, поющие. Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес.

Не доходя до леса, Ларивон остановился.

– Тамо-ко хоронись. Батюшка так велел, – указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор.

– Тут нет никакой деревни близко?

– Не хаживал в деревни. Не ведаю.

– А тракт далеко?

– Не ведаю.

Повернулся и пошел в обратную сторону.

Лопарев сел возле мешка, задумался. Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом?

«Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо! Туда мне дороги заказаны. Одна дорога открыта: на каторгу!»

Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю: как поступить с ним после побега?

«Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву, и опять упрячет в Секретный Дом».

Ну нет! Лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником Секретного Дома.

Завязь третья

I

Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неумные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще? Муторно на душе Лопарева – места себе не находит в тенистой роще.

Плещется тиховодный синий Ишим.

Минули сутки, вторые. На исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предутренняя зарница. Костер то потухает, покрываясь сединой пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.

Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему, жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона? Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе как Иисусова праведника?

«Не могу я принять дикарское верование, – думает Лопарев. – Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждения, мрак?..»

Надо встать и уйти, пока не поздно.

«Но куда уйти? Куда? – в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. – Велика ты, Русь, а деться некуда! Пустынна ты под тиранией венценосца, ох как пустынна! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят! Доколе же ходить в ярме? Доколе?!»

II

Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его.

Утром Лопарев искупался в Ишиме. Дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности – хотел успокоить мятущиеся чувства.

Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степь и ждет, ждет, когда же наконец появится Ефимия? А ее все нет и нет.

«Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда...»

Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимии.

Порхают птицы, беззаботные, веселые, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость.

В зените золотистое облако.

И тишина, тишина. Первозданная...

Когда совсем не ждал – голос:

– Ты ли здесь, праведник Иисуса?

Лопарев круто обернулся на голос и попятился. Ефимия ли то?

– Чего так испугался? – А голос, как мед текучий, и сладкий, и приятный, и до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась! В синем нарядном сарафане с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу. Под сарафаном батистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая

на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка. Чудно! Кудрявящиеся на висках черные волосы схвачены красной лентой у затылка, опущены по спине – струистые, чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле – княгинюшка.

Ефимия держится прямо, вызываяще. Глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка. Такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии – маленькая иконка Богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреновых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пугови.

Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая. Но если бы он мог знать, какая сила сокрыта в ее красивом и спокойном теле!..

За спиной Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня.

Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез.

– Ждал меня? – Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей.

Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила.

– погоди, Александра. Не подходи, – проговорила она и поспешно перекрестилась. – Возьми палку и бей. Лупи меня, лупи!

Лопарев вытаращил глаза:

– Что ты, Ефимия?

– Али забыл, как толковал тебе старец Филарет?

Лопарев, конечно, забыл.

– «Алчущего накорми, жаждущего напои... бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу батогом гони, лупи, бо се есть бесовская любовь», – напомнила Ефимия слова старца и опустилась на колени.

– И я пришла, видишь. В наряде пришла федосеевском, какой дядя мой, Третьяк, сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрил меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиной в Сибирь идет мой дядя Третьяк. Потому: третьим сыном был после мово покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк да не Юсковы, сгила бы я. Убил бы меня зверь окаянный, Мокей Филаретыч, крепость моя страшная! Прости меня, Богородица Пречистая.

Ефимия истово перекрестилась.

– В Писании сказано: жена да убоится мужа своего. Рабыней станет по гроб жизни. Нет! Клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Мокея, хоть и повязала меня судьба с ним. И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам.

Ефимия трижды поцеловала иконку.

– К тебе пришла, Александра! Видишь какая. Смотри же, смотри блудницу, праведник.

– Я не праведник, Ефимия.

– Не говори так! Ты – праведник, коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского. Не убоился. Кланяюсь тебе в землю пред чистым небом, пред ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы, а есть радость зрить тебя, кандальника. Жаждет душа моя света, Александра. Не блудница я, нет! Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видела. Правду говорю. Нет в моем сердце жалости к Мокею Филаретычу, хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжело!.. Не жить

мне с Мокеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянись святым нательным крестом!..

– Помни же, – продолжала Ефимия, – отвергаю я Писание, где сказано, что жена – раба мужа свою. Не рабою, а равною быть хочу. Любви ищу, а не блуда. Такою вели меня на суд собора, такой пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству – ведьма. Да неправда то! Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит Бог и небо. Пришла, чтоб узнать тебя и – если ты примешь – отдать свое сердце.

Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз:

– Ждал меня?

– Ждал, Ефимия, ждал!

– Блудницу ждал?

– Спасительницу свою ждал.

– погоди. Я не святая, Александра. И не праведница. Но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал три дня и три ночи?

– Такую, Ефимия!

– погоди, погоди, Александра. Ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой и Мокей спас меня. Скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть.

– Зачем гореть?! Довольно одной несчастной Акулины!

– Ой, ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд. Радость была бы.

– Будет радость, Ефимия. Будет еще!

– И я помогу тебе, Александра. Слушай, у меня есть пачпорт пустытника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт, чтоб я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт втайности. Шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица!..

III

Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянулась, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив:

– В тряпице пачпорт пустытника, Александра. Да не запамятуй: ты его снял с березы. Так старцу и скажи. Пустытники хотели тебя батогом бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Иусова. Не знаешь, как старец ругал пустытников и посохом лупил? Пришли гнать тебя, а старец их встрел проклятием. «Иудины дети, собаки нечистые, знамение Господне явилось, да вы ничего не зрили», – кричал на них. Потом Елисею тайный спрос учинили как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте до того моленья, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустытников. А ты явишься с пачпортом. Сам старец упадет тебе в ноги, слышь. Не робей. Так будет, чтоб потом прозрели.

Лопарев слушал и ничего не понимал. Елисей висит на кресте? И он должен явиться с «пачпортом пустытника»? К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит: должен явиться с пачпортом пустытника, и тогда он будет свободен: общинные моленья для него необязательны, он исповедует собственное раденье. Он может учить людей.

– Чему учить, Ефимия?

– Грамоте искушен, поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать? Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозренье от тьмы. Я хотела обу-

чать грамоте, да Мокей чуть не удушил меня, яко бесноватую блудницу. А у тебя будет защита – пачпорт пустытника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетних грамоте, и никто перечить не станет. Потому: твоими устами глаголет сам Спаситель, скажут.

Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, то не откажутся ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню.

– Пачпорт возьмишь, когда я уйду. Да не забудь: двоеперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь.

Лопарев подумал: не все ли равно Богу, как Ему молятся, тремя или двумя перстами?

Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роше, перед тем как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда: черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и чирки-мокроступы из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снесь: отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и пирог с рыбой.

Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением.

Ефимия собрала обед и отошла к березе.

– Разве ты не будешь со мной обедать?

– Обедай, Александра. Я не голодна.

– И я не голоден.

– Обедай. Я же не могу обедать с мужчиною. Так заведено у правоверцев.

– Это же дикий обычай, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?

Ефимия ответила:

– Едины духом, не телом.

– Бог сотворил Еву из ребра Адама.

– Не верю в то, – не моргнув глазом, ответила Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. – Не верю в то, – повторила Ефимия. – В Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою». А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? Пошто Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано: «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: „Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа моего“». Могло ли так быть? – опять спросила Ефимия. – И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел». Такого человека, Александра, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А Господь Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над тобою». Какой муж? Поганый трус! И его Бог назвал человеком. Еще Бог сказал человеку: «За то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден; со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни». Могло ли так быть? За что проклята земля?

Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали.

Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано.

Ефимия усмехнулась:

– А я читаю Писание с шести лет. Когда жила в Преображенском монастыре, еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила. Всему верила и блюла

святость, покуда судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским. Пошто так глянул на меня? – И, мгновение помолчав, тихо проговорила: – Слушай, что скажу...

IV

– На малую Пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка игуменья Евдокия говорила: «Прими пострижение, Ефимия, святой игуменью станешь: вижу в тебе такую тайну святости».

Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет мирской дух, а все душа не на месте.

Стану на колени перед материной иконкой Богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышался легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», – будто зовет в мир соблазнитель.

Собьюсь с молитвы и реву в голос.

«Матушка, где ты? – зову покойную мать. – Отзовись! Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет божий? Ужли для четырех стен и вечного раденья? Скушно мне, матушка. Глаза бы не глядели на каменные стены! Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка!»

Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую помнила.

Проведала про мои стенания игуменья Евдокия и говорит: «Мучает тебя, Ефимия, искушитель. Ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтоб он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтоб укрепиться в нашей вере. В том великая благодать».

Во всем монастыре никто из белиц не знал так Писание, как я. Сама игуменья Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что Писание вошло в меня с молоком матери.

Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер так, версты за три от монастыря, вспомнила, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге.

Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере.

К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искушительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга; кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем. И что из самого Церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то примет он меня, думаю. А вдруг пришибет камнем иль зарежет, как деву петербургскую?

Подошла к пещере и сробела. Холодом налились ноги и руки. И вдруг слышу стенания:

– Господи! Избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не словом Бога, а человеческим разумом. Все, все вижу! Прелюбодеяния вижу, корыстолюбие вижу, Господи!

На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры и стою так – ни жива ни мертва. А из камней слышится голос:

– Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей! Не словом Божиим писал ты откровения, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской. Презренный!

Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея! Как тому поверить?

Подумала я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтоб опорочить святого старца. «Нет, думаю, не свершу святотатства. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души».

За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так, запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается.

– Именем Иисуса – отзовись, старец! – кричу в дверь.

– Изыди, искуситель! – послышалось в ответ.

– Я не искуситель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтоб укрепиться в праведной вере.

И опять старец вопит в ответ:

– Изыди, изыди, Сатано!

Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь.

Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру.

Помню, при свете восковой свечи Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную, по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные, белые. Одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног.

Я сказала, что заблудилась в лесу и вдруг услышала возле пещеры голос искусителя, как он проклинал Святое Писание Моисеево и что Библию творили человеческим разумом, а не словом Божиим.

Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе.

– Не убивай меня, не убивай! – крикнула я, не в силах встать на ноги. – За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит Дева Пречистая, дурных помыслов не имею.

Слова ли мои помогли или что другое, но старец бросил нож и, глядя на меня, сказал:

– Вижу, дочь, погибель изыдет от тебя на меня, как на Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь. Рок не минул моей головы – на то воля Божья. Встань, дочь, и дай мне поглядеть на тебя.

Не помню, как я поднялась. Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги: Библии на разных языках и печатные откровения пещерников.

Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени.

– Евгения, Евгения, прости мя! – закричал он и схватил меня за ноги.

Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка.

А старец бормочет:

– Прости мя, Евгения. Не убивал я тебя, не убивал! Искуситель поднял мою руку, видит Бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет. Сокройся, если ты не плоть, а дух.

Старец еще что-то бормотал, не помню. Он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, белица монастырская.

– Ты ушла в монастырь? – спросил старец.

Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский, и про Лексинский.

– Ты не Евгения? – допытывался старец.

– Ефимия я, Ефимия, – твердила я.

– Если то правда, как ты говоришь, и если ты не дух, а тело, покажись вся, чтобы я видел тебя без рубища и узнал бы: Евгения ты или чужая белица.

Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем! Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память.

Как сейчас вижу. Сижу нагая на досках, а старец со свечой в руке глядит на мое тело и что-то ищет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова.

– Нету тех родинок. Нету! – вдруг сказал старец. – Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси, Господи! Оденься, дочь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне?

Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтоб укрепиться в вере.

– Во что ты веруешь, дочь? В Писание? – бормотал старец и потом спросил: – Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеево? То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на три дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня три дня и три ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была три дня, что видела и что слышала.

Я дала такую клятву...

С того началось, Александра Михайлович.

Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старцы, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных. Носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды. Верил в то, во что верили люди, пребывающие во тьме. Любили меня, я любил. Потом познал великую любовь белошвейки Евгении. Вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка – не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышлял прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по двадцать первому году, и отвагою и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа. Черным показался белый свет, и любовь к Евгении угасла в сердце. Как можно коснуться девичьего тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках, дочь, пока я не обрел пещеру».

Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом Божьим, а промыслом людского разума творилась Библия, – говорил Амвросий. – Познал я еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первоизданности. И вижу: разночтений множество, прелюбодеяния и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий; я слово в слово помню его речения. В семнадцать годов у девицы память как прошва на батисте. Батист изнашивается, а прошва видна все ярче да ярче.

Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи по сказаниям других народов: египетских и вавилонских. Семь годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть.

«Человек пребывает во тьме, а тьма – тенеты невежества и неразумения, – толковал Амвросий. – Вижу, – говорил он, – не в Библию веровать надо, а в дух вселенский, в солнце, яко греющее нас, питающее нас. В том Бог, откуда исходит благодать. Слова – вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Заблуждение ввели да рабство. Не должно быть рабства, дочь. Человек – земное светило, и от рождения каждый равен другому».

Как сейчас вижу Амвросия Лексинского: весь белый, сидит сторбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать.

Амвросий звал меня своей дочерью и взял трижды клятву, что я до конца дней буду нести в мир слово прозрения от тьмы, а не саму тьму.

«Будь послушна, дочь, яко овца; живи со общиною, – наказывал он. – Но пусть река твоей веры перебьет течения мутных вод, и ты обрешь вечность. Не сразу, не в день откроешь людские души. Наберись на то терпения. Гнать будут – терпи. Бить будут – не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца. На востоке заря от солнцевсхода, а в лесу темно, как в колоде. Но ты не отступайся от тьмы. Точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется».

«Стар я и немощен телом, – говорил Амвросий. – Если бы я, дочь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, девятьсот годов, только бы открыть истину людям. Но вижу, жизнь моя на исходе. Изморил себя постами и раденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дочь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму».

И я клялась. Старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческой. Амвросий посыпал мою голову пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской.

Так было, Александра Михайлович...

V

– ...Всю зиму и весну я тайно ходила в пещеру, и Амвросий встречал меня светлым сиянием. Грешна, может, но во всей Поморской земле от моря до суши, во всей Олонецкой губернии не видела я никого, кто мог бы заполнить мою душу, как Амвросий Лексинский. Для меня он был как Светлое Христово Воскресенье.

Есть ли в том грех? Если есть – грешна, но не каюсь. Повторись та пещера сейчас – была бы в ней, видит Небо.

Амвросий открыл мне столько тайн создания Библии, столько открыл тьмы и заблуждений, сколь не познаешь в целый век, если Библию читать незрячими глазами.

У себя в келье я тайно вела запись речений Амвросия и хранила в волосяном тюфяке. Грешна, каюсь.

Амвросий научил меня распознавать травы и варить из них полезные для здоровья зелья. Ни ползучая тварь, ни какой другой зверь не страшны были старцу. Я зрела собственными глазами, как змеи замирали от взгляда старца и он звал их за собой посвистом, как ручных. И они ползли за ним. Протянет руку к змее, посвистывает, и змея вползает в рукав рубахи, а из другого выползает наземь. Иль свернется и одеревенеет. Меня учил тому, хоть я и брезговала гадами ползучими.

«Тварь ли, зверь ли – покорны человеку, – наставлял Амвросий. – Нет на земле силы выше разума человеческого. Гляди вот так на гадину ползучую, собери в себе весь дух, и гадина замрет, как неживая».

Боже, не ведаю, как то случилось, но Амвросий сам отрекся от Бога и на глазах пришедших монахов Выговского монастыря, какие пришли к нему за словом веры, попрал Святое Писание, как скверну: рвал Библии, Евангелие, топтал их ногами. Его схватили, связали по рукам и ногам и так доставили на великий суд Церковного собора. Жестоко пытали в подвалах, жгли железом, выворачивали руки, предавали анафеме, как буйного еретика, и он назвал мое имя...

Из собора за мною прислали десятского и стражника. Не помню, как я пережила те дни. В монастыре игуменья собрала всех белиц и монахинь на великую службу очищения духа – изгоняли ведьму. Меня водили по ограде голышом, и каждая монашка и белица плевали на мое тело.

Келью мою, в которой я жила, закидали коровьим пометом. И стены, и два окошка, и пол. Когда монашки потащили мой тюфяк на сжигание, я упала в ноги матушке игуменье и просила ее, чтоб она позволила мне достать из тюфяка мои записи. В тех записях хранился и пачпорт...

– Возьми, возьми свою нечисть! – разрешила игуменья. – Не послушалась меня, еретичкой стала. Собор порешил казнить люто, и нет тебе спасения. Семь годов будешь сидеть на цепи в каменном подвале в студеной воде, какую напустят тебе по шею. Захочешь утонуть – цепи не пустят. Тело твое подвешат на цепях. Опосля семи лет кары сожгут тебя, и пепел развеют по Студеному морю.

Жила ли я в те часы? Не знаю, не ведаю. Вся оплеванная, во власянице, какую натянули на меня монашки, босая, с обрезанной косой, вышла я к десятскому Церковного собора и к стражнику. Под власяницей спрятала записи. Зачем – не знаю. Думала так: «Если меня будут казнить, пусть предадут смерти с моим грехом. Если же я познала у старца великую правду, тогда минует черная смерть мое тело. И клянусь всем святым, что есть на белом свете, буду служить людям сердцем и душою, умом и руками, чем могу и сколько буду жить».

Таковую дала клятву вот перед этой иконой Богородицы.

...Перед смертью мать говорила мне: «Береги, Фима, иконку. В ней все мое достояние. Писал ее иконописец Рублев, а сканью и золотом выложил филигранщик Костоусов-Пермский». И что иконку надо хранить как святыню.

«Если доведется тебе, – говорила матушка, – свидеться с кем из князей Дашковых, покажи им иконку, и они узнают тебя. Если не признают за сродственницу, анафема всему ихнему роду...»

Вот с этой иконкой вывели меня из монастыря Лексинского и повели в Выговский, где ждал меня приговор собора. Я узнала от десятского, что Амвросий умер от пыток и тело его увезли к морю и там выбросили на съедение рыбам.

«Вот сейчас ты – красавица-белица, – говорил десятский, – погляжу на тебя через семь годов – старуха будешь. Вся почернеешь, как твои сатанинские глаза. Может, потом поручат мне предать тебя смерти. Уж справлю я свою должность во славу Господа Бога!»

Мне стало страшно от таких слов. Меня всю трясло.

До ночи стражник и десятский ехали на телеге, а я шла за ней, привязанная веревкой, со скрученными назад руками. Я упросила десятского, чтоб материну иконку дали мне в руки. Он смилостивился, и я держала ее в руках за спиной.

На ночь стражник и десятский остановились на отдых в дремучем лесу. Узкая щель дороги, уложенная бревенчатым настилом, дыра в небо да огонь костра. Я все молилась и молилась. Стражник развязал мои руки, чтоб я приняла пищу и воду. Тут подошел охотник-поморец. Он нес славную добычу. Как все правоверцы, носил бороду, хоть и молодой был. Десятский хотел прогнать его от костра, но парень разговорился про удачливую охоту, и они забыли про меня, не связали руки.

Помню, десятский сказал, показывая на меня: «Вот мы тоже добыли волчицу-ведьму. Гляди, какая красивая тварь!»

Охотник стал разглядывать меня и спросил, ведьма ли я.

– Не ведьма, а веру-правду ищу для людей, – так ответила.

– Какая твоя вера? – вопрошал охотник.

– Моя вера, – сказала я, – вся в поисках, как темная ночь в звездах, когда на небе нет тучек. Ищу правду. Как жить и что надо делать, чтоб счастье иметь.

Моя ли речь, сказанная от сердца, а может, охотника обуюл соблазн, но я видела, как потемнилось его лицо. Десятский сказал ему, чтоб он не искушал себя разговором с ведьмой, и охотник отошел и лег возле костра.

Потом и стражник лег, и десятский. Стражник на ночь скрутил мне руки и привязал веревку за свою руку, если подымусь, его разбужу.

А я все молилась, чтоб Богородица Пречистая укрепила мой дух и тело, чтоб защитила меня от людей дремучих, утопающих в невежестве, как кочки в тряской мшарине поморских болот. Идешь по болоту, прыгнешь на кочку, и она сразу уходит во мшарину. Так и люди тем-

ные. Торчат будто над бездной болота жизни, а обопрешься об такого человека – он весь уходит во мшарину невежества и тебя тянет за собой.

Охотник будто храпел – так крепко спал, но вдруг поднялся, прислушался к стражнику и десятскому, взял свое ружье и добычу и, ничего не сказав, развязал меня, а веревку привязал к колесу телеги. Потом поднял меня и унес в лес. Сердце мое сильно-сильно билось, и я не знала, куда несет меня человек. И человек ли?

Охотник притомился, положил меня на землю и сам обвязал мне босые ноги звериными шкурками.

– Теперь можешь идти? – спросил он.

– Могу, – ответила.

– Тогда пойдем скорее. Идти нам далеко. Завтра к ночи доберемся до надежного места, и я тебя там укрою. Меня зовут Мокеем. Женой моей будешь, слышь. Приглянулась ты мне. Ежли ты и в самом деле ведьма, сам предам тебя казни, без собора. А стражники пусть тащат на суд собора колесо от телеги.

Хоть и спас меня Мокей от страшной казни, но не было в моем сердце тепла к нему. Стала говорить с ним про Писание, он махнул рукой: «Ты, говорит, про Писание толковать будешь с моим батюшкой. А мое дело – охота, промысел в море».

Как я ни умоляла дикого человека – он преодолел мою силу, овладел телом да еще измывательство учинил: «Пошто, говорит, тело твоё студёное, как из воды вынутое?» А того понять не мог: откуда телу горячему быть, коль берут его силой?

С той поры возненавидела я Мокея Филаретыча, да бежать мне было некуда. Куда бы я ни сунулась в Поморье – угодила бы на цепи в каменные подвалы собора.

Проведал Мокей про Амвросия Лексинского и долго допытывался, как я жила со старцем. Греховно ли? Не ведьма ли я? Изводил меня долгими ночами, как огонь лучину. «Ну, думаю, не жить нам двум на земле!» – до того мне тяжело было.

Когда в Поморье появилось царское войско, мой дядя Третьяк с Юсковым семейством бежали с Лексы на Сосновку и тоже приняли крепость Филаретову, только б не погнуть голову перед анчихристовым войском. Потом в Сибирь собрались.

Вот и едем мы. Ехали летом, и осенью, и зимой, и вот опять настало лето. Еще далеко, говорят, до Енисея!..

Вот и вся исповедь моя перед Богородицей Пречистой и перед тобою, Александра. Суди сам, какая есть. Ничего не утаила, и ни о чем больше не спрашивай.

VI

Тихо шумели березы, как бы умиротворяя, но Лопареву припомнились и первые допросы у графа Бенкендорфа и генерал-адъютанта Чернышева, и следственная комиссия с ее каверзными вопросами; Сперанский, которому царь доверил определить степень виновности и меру наказания для каждого декабриста; и допрос царем; и тесная камера в Секретном Доме; и мутное наводнение тюремной решетчатой тишины, когда все внутри натянуто в звенящую струну, и ты все слушаешь, слушаешь звуки, исходящие из собственного сердца, и кажется – настал конец жизни; и побег с этапа, – все это разом опеленало Лопарева тревогою, беспокойством, и он, глядя на Ефимию, невольно проговорил:

– Как ты все это пережила?

Ефимия опустила на колени, поклонилась в землю.

– Пережила и радуюсь, радуюсь! Судьба смиростивилась и послала мне человека, пытанного железом, которого примет община, и он пойдет с нами в Сибирь, до Енисея. Радуюсь тому, Александра! Не ведаем мы страха, не ведаем неволи. Слушай, будь Иисусовым праведни-

ком, и ты всегда будешь со мною, и я откроюсь тебе сердцем, как птица крыльями навстречу воздуху. Ты вышел из мертвых, чтобы жить вечно. Будь таким, и я жена твоя перед Богом!

И само солнце будто плеснуло жаркими лучами. И птицы примолкли в роще...

– Приди же, приди ко мне, возлюбленный, и я открою уста для твоего сердца, – тихо молвила Ефимия, простирая к Лопареву руки. – Пусть нашим ложем – трава зеленая; пусть крышею дома – небо синее; пусть виноградниками моего сада будут шумящие березы! Я жду тебя!..

У Лопарева горело лицо и сохли губы.

– Ефимия! Сестра моя! Подруга моя!

– Говори же, говори. Ибо слова твои слаще вина. Не смотри на меня, что я телом смугла, ибо солнце опалило меня на большой дороге. Я шла и ждала тебя, как солнце ждут после темной ночи. И ты явился ко мне из ночи, и я первая узрила тебя и дала тебе воды утолить жажду и любовь свою! Ты не видел рук моих, не зрил моих глаз, ибо в теле твоём замерла жизнь, а я была рядом с тобой, и никто про то не ведал!.. Ты звал меня в беспамятстве чуждым именем, да я не верила тому, думала: «Меня, меня зовет!..»

– Тебя, тебя, Ефимия!

– Тогда я сказала себе: «Он будет мужем моим перед Богом. Он пришел ко мне в железе. Я хочу, чтобы он был волен, как птица!» Я тайно жила с тобою неделю, сторожила твой сон, гнала хворь, хоть ты и не ведал, что есть такая живая плоть, которая любит тебя пуще всего на свете!.. Не подходи, слушай... Зреть хочу тебя, просветленного и ясного, как вот солнышко. И пусть твои горячие руки после стылого железа обнимут меня и найдут тепло! Я – твоя. И пусть в общине знают тебя как праведника, для меня ты будешь вечной радостью. И я скажу: «Мировой пучок – возлюбленный мой, и он у моей груди пребывает. Как кисть кипариса, возлюбленный мой, и я навсегда отдам ему свои виноградники!..» Как не повторится ночь, так не воскреснет вчерашнее, прожитое. Лист опавший не подымется вновь на дерево жизни; трава сожженная не станет вновь зеленой. Будь моим возлюбленным перед Небом и Богородицей Пречистой, и я скажу тебе: не рабыню нашел ты, а верную подругу, с которой и горе не бывает горьким. Пусть весь пламень моей души будет твоим огнем. Пусть живу я твоим сердцем, ибо я – жена твоя перед Небом чистым. И не бесовская то любовь, а Божья, Божья! – в исступлении говорила Ефимия, глядя в глаза Лопарева.

– Подруга моя, возлюбленная моя, – бормотал он.

– Твоя, твоя! На веки вечные! – молвила Ефимия. – Скажи, что ждешь ты ото дня грядущего? Тьмы или света?

– Света, света жду!

– Пусть стану я для тебя вечным светом! Ищу я, ищу, возлюбленный мой, не покоя, не богатства, а прозрения от тьмы, кипения и огня!.. В глазах моих нет тьмы, а есть пламень. И этот пламень никогда не угаснет, доколе ты будешь со мною вместе.

– Мы уйдем из общины.

– Нет, нет, Александра! Нельзя уходить. Из крепости в крепость не уходят. Ты будешь праведником и пробьешь тьму невежества. И я помогу. Пусть нам будет трудно, но люди должны прозреть – в том счастье великое!.. Ты видишь, еще не отросла моя коса, отрезанная игуменьей Евдокией, еще в душе не залечились раны пережитого испуга, когда меня во власнице тащили на веревке к телеге, но я не та, какая была в ту пору. Нет той Ефимии. Есть другая, какую никто не знает. Только ты один. Перед тобою открылась вся, как зарница на небе... Иди ко мне, возлюбленный мой, муж мой! – И протянула Лопареву зовущие руки.

VII

Сказывают старообрядцы: судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба.

Еще толкуют: в одной руке у Бога судьба, а в другой – горячая, как пламя, любовь, какую редко кто из баб ведает на святой Руси. Точно Богу известно, что русской бабе любовь ни к чему, – некуда ее употребить. Как вышла замуж, родила детишек – тут и конец бабьей любви. То свекор ворчит, то свекровка клюкой стучит, то муженек попадется – ни колода, ни вода у брода. Перешагни – не встанет, перебреди – груди не замочит.

Румянцем зальется белица, когда ее невинного тела коснется рука мужская. А через два-три года – пустошь в душе, и глаза словно выпцвели и спрятались внутрь, как горошины в стручок: не сразу сыщешь, что в них было в девичестве.

В редкости падает на избранницу любовь: водой не залить, хмелем не увить и цепями не спеленать; она горит до самой старости...

Такая любовь таилась и в сердце Ефимии и сейчас выплеснулась на беглого кандальника, и он впервые узнал, как горяча бывает и неистребима женская любовь, поднимающая человека со смертного одра.

От солнца ли полуденного, истомного, от духмяных ли трав, обволакивающих, как туманом, от жарких ли поцелуев Ефимии или от ее пронизывающих слов, бередящих душу, у Лопарева кружилась голова, щемило сердце, и он беспрестанно твердил одно и то же: «Не уходи, не уходи... Ради бога, не уходи!»

– Идти надо, возлюбленный мой, – шептала Ефимия, глядя в небо сквозь сучья березы. – Я еще травы должна собрать, чтоб духовник не заподозрил. Глаза у него, как у змея, а сердце каменное.

– Я его ненавижу!

– Тсс... – Ефимия закрыла ему ладонью губы и чему-то усмехнулась. – Жить надо, Саша! Ты просил, чтобы я тебя так называла, помнишь?

Лопарев ничего не помнил.

– Ядвигаю меня звал. Семь ночей звал, и я откликалась на твой голос. В уста целовал меня, руки целовал... Богородица Пречистая, прости мне тот грех!

– Не было у меня любви с Ядвигой, – сказал Лопарев. – Нас повязала клятва.

– Какая же?

– Царь не дознался, комиссия не дозналась, а тебе скажу. Я был узами братства связан с польскими патриотами. Не знаю, когда сбудется, но вся Польша восстанет за свою свободу!

– С католиками какое же братство?

– Не с католиками, а с такими же поруганными, как и все мы, русские. Клянусь девятью мужами славы – восстание еще будет! От Польши до Москвы. Вся Россия займется огнем...

– Ты говорил такое, когда сам огнем горел. И такую же клятву давал: «девятью мужами славы». Какие это мужья?

Лопарев сказал, что девятью мужами славы считались три иудея – Иисус Навин, Давид, Иуда Макковей; три язычника – Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь; три христианина – король Артур, Карл Великий и Гектор Бульонский.

– Ой, ой, сколько! – усмехнулась Ефимия. – Я знаю только двух: Иисуса Навина и Давида. Не Иисуса, а Иисуса, как называют правоверцы...

Солнце клонилось к вечеру, а Ефимия все еще никак не могла расстаться с возлюбленным.

– Господи, что скажу батюшке Филарету? Беда мне, Александра, беда! Не дай Бог, если он что заподозрит...

– Я же говорю: уйдем из общины, – напомнил Лопарев.

– Куда же, Саша? Куда? К еретикам или царским висельникам? Ни ты не вольный, и я птица со связанными крыльями. На первой же версте остановят и тебя повяжут в цепи. А как же я? Куда тогда?

Лопарев ничего утешительного придумать не мог. Сам знал: куда ни сунь нос – чужие. Ни вида на жительство, ни знакомых в неведомой Сибири.

Ефимия догадалась, о чем думал.

– Одна у нас дорога – в общину. Бог даст, и щель откроется, тогда уйдем.

– Как ты будешь с Мокеем, когда он вернется?

– Не надо, Александра, и без того страшно... Пойду я, милый, не держи меня: сами себя погубить можем. Прости меня. Я ждать буду «Исусова праведника», помни. Другой дороги нет, Александра. Ждать надо. Терпеть надо. Вся Русь терпит, слышь!

И ушла...

VIII

Минул пасмурный субботний день, и настал вечер. Лопарев сидел у костра, в который раз перечитывал пачпорт странника-пустынника:

«Объявитель сего, раб Божий Иисуса Христа, праведник, уволен из Иерусалима, града Божия, в разные города и селения святой Руси ради души прокормления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, и пить и есть с воздержанием. Против всех не прекословить, убивающих тело не бояться, и терпением укрепляться, ходить правым путем во Христе, дабы не задерживали бесы раба Божия нигде. Аминь. Утверди мя, Господи, во святых заповедях стояти, и от Востока – тебя, Христе, к Западу, сиречь ко Анчихристу не отступати. Господи Иисусе, просвещение мое и спаситель мой. Аще ополчится на мя полк, не убоюся. Покой – мой Бог, прибежище – Христос, покровитель – Дух Святой. А как я сего не буду соблюдать, то опосля много буду плакати и рыдати. А хто странного мя принять в дом свой боится, тот не хочет с господином моим знатися. А царь мой и господин – Иисус Христос, сын Божий. Аминь.

Дан сей пачпорт из Соловецкой обители праведников на один век, а по истечении срока явиться мне на страшный Христов суд. Имя праведника – Раб Божий, опричь других имен нету. Явлен пачпорт в святую ризницу Соловецкого монастыря, и в книгу животну под номером будущего века прописан, и печатью Обители праведников припечатан на веки вечные. Аминь».

Пачпорт написан был тушью на толстой бумаге, уже пожелтевшей, с переломами на сгибах. Стояли какие-то неразборчивые подписи соловецких праведников и большущая печать.

С такими пачпортами во времена Разина и Пугачева соловецкие странники хаживали по всей Руси, из губернии в губернию. И если праведник умирал в дороге, пачпорт передавался в другие надежные руки, и слово Божье шло дальше. Потому-то в пачпорте и не указывались имя владельца и его приметы. И кто знает, кто и где скитался по Руси с этим «пачпортом, прописанным в книгу животну под номером будущего века» до Амвросия Лексинского, покуда он не попал в руки Ефимии, а от нее – к беглому Лопареву...

Не хотел бы Лопарев предъявить этот сомнительный пачпорт старцу Филарету, но он дал слово Ефимии, что явится в общину с пачпортом, неведомо кем оставленным на суку березы.

Субботняя ночь...

Где-то в степи вышел из рощи и увидел, как вдали двигалась черная поющая лавина людей, озаряемая трепетными огоньками свечей. Пение все ближе и ближе.

«Это же все вздор, и я должен поверить во всю эту чепуху да еще представиться каким-то пустынником с дурацким пачпортом!» – думал Лопарев, а поющая толпа придвинулась сажень на сто от рощи.

Впереди шел старец Филарет и вел кобылицу. Но жеребенка не было с ней: не поймали, может?

Кобылица скакала на трех ногах...

«Исусе сладкий, Исусе сладчайший, Исусе пресладкий, Исусе многомилостивый...» – трубно тянули выступающие впереди праведники-апостолы с иконами. Некоторые старцы были увешаны веригами, ружьями, чугунами гириями на веревках; а один из пустынников горбился под тяжестью деревянной бороны. И все это двигалось, крестилось, орало.

Остановились саженьях в тридцати от Лопарева и зажгли множество свечей, озаривших равнинную степь.

«Благослови еси, Господи Боже, Отец наш, хвально и прославлено имя Твое вовеки!..» – затынул Филарет.

– Аллилуйя, аллилуйя!

У Лопарева одеревенели ноги – шагу ступить не мог. Вот так же, наверное, орали молитвенное песнопение в судную ночь, когда жгли у березы Акулину с шестипалым младенцем.

Филарет в облачении духовника подошел к Лопареву на шаг, поднял золотой крест, спросил:

– Ты ли здесь, человеке, посланный нам знамением Господним?

У Лопарева едва повернулся язык...

– Здесь я...

– Прощаешь ли нам тяжкий грех, когда мы прогнали тебя из общины и знамение Господне попрали, яко свиньи?

– Прощаю, отец...

– Воспоем аллилуйю, братия и сестры, и ты с нами воспой, человеке...

Пропели аллилуйю.

– Скажи нам, человеке, примешь ли ты веру древних христиан, какие с топором и ружьями на царя пойдут, на попов бесноватых, а веры праведной не переменят?

У Лопарева градом катился пот с лица.

– Принимаю...

– Благословен еси присно... – загудел старец и после короткого псалма опять спросил: – Не было ли тебе, человеке, какого видения в роще, опричь того, когда Бог послал тебе кобылицу с жеребенком и вывел к нашей общине?

Толпа придвинулась полукружьем и замерла, распахнув сотни жадных глаз.

– Сказывай, человеке.

Делать нечего – надо говорить.

– Может, то сон был, не знаю, – начал Лопарев. – Лежу я так у трех берез в роще, где у меня костер горел. Думаю, как мне жить? Как правое дело вершить? Как слово просветления людям нести? И будто слышу, кто-то глаголет мне: «Грамоте обучай отроков, чтоб могли писать и читать, живи как праведник, и радость будет». Потом вижу: на суку березы висит какая-то тряпица. Откуда, думаю? Будто не было тряпицы, когда костер разжигал. Поднялся и снял тряпицу. Тряпка вся истлела, а в той тряпке – пачпорт раба Божьего из Иерусалима.

Толпа чуть отпрянула, и сам старец на шаг отступил. У Лопарева дух захватило: вдруг изобличат с позором да по шее дадут?..

Восковые свечи мотаются огненными косичками.

У Лопарева пересохло во рту.

– Может, кто подшутил надо мной, не знаю, – пробормотал он и развел руками.

Первым опомнился старец. Подошел к Лопареву, попросил показать «пачпорт».

Кто-то из пустынников подsunул старцу икону, на которой разложили восемь лоскутков пачпорта. Долго читали старинную славянскую вязь, буква по букве, и вдруг старец воздел руки:

– Чудо свершилось, чудо! Бог послал к нам праведника из града Божьего Иерусалима!

Глазастая суеверная толпа рухнула на колени.

– Чудо, чудо! – вопили мужики во все горло.

– Чудо, чудо! – визжали старухи.

Старец Филарет упал на колени перед Лопаревым и ткнулся лбом в землю.

– Чудо, чудо!

Лопареву стало стыдно и страшно...

– Всенощную, всенощную! – шквалом пронеслось из конца в конец.

Начали всенощную службу.

Лопарев показал на березу, с которой он снял тряпицу с пачпортом. Возле березы соорудили алтарь, прилепили множество свечей на сучьях, и роща огласилась песнопением.

IX

...После сожжения Акулины с младенцем на обширной елани остался торчать огарышек березы, как черный палец проклятия, грозящий небу.

На огарышек по велению старца Филарета прибили осиновую перекладину – и вышел бело-черный крест.

На крест привязали веревками пустытника апостола Елисея: «Не вводи во искушение, собака грязная!» Это ведь Елисей смутил общину, когда сказал, что видел собственными глазами, как на лбу кандалника, приползшего на карачках к становищу общины, торчали рога Сатаны, а потом вдруг спрятались.

Пустытники со старцем-духовником порешили так: пусть Елисей висит на кресте до того часа, когда в общину вернется праведник, какого Бог послал со своим знамением. Если праведник не простит Елисея, тогда его надо сжечь как еретика и пепел развеять по Ишиму-реке.

Для сжигания Елисея припасли сухой хворост и приволокли на волокуше большую копну сена.

За пять суток жития на кресте Елисей до того почернел, будто его коптили, как поморскую воблу, над дымом.

Первые двое суток Елисей пел псалмы и молитвы.

На третьи сутки от неутолимой жажды перехватило горло, и Елисей не то что пить – шипеть не мог.

В ночь на четвертые сутки полоснуло дождем, и Елисей, задрав бороду, напился воды и окреп.

Поднялось солнце, прижгло лысину, и он, как ни силился, ни одной молитвы припомнить не мог – из головы будто все выпарилось, как вода из чугунка на огне.

«Господи, пощади живота мово, отошли солнце в тартарары, прими мя, Сусе!» – бормотал Елисей.

Ни стоны, ни жалобы, конечно, никто не слышал. Разве мыслимо вопить Божьему мученику, как той поганой бабе Акулине!

Власяница впилась в тело, но Елисей не чувствовал ее на своей продубленной коже – привычно.

Хвально так-то во имя Иисуса принимать мучения. Радость будет на том свете.

На копну сена и на хворост, припасенный для его сжигания, глядел как на благодать. Если бы его подожгли, он бы еще нашел в себе силы затянуть: «Исусе сладкий, Исусе пресладкий, Исусе сладчайший...» – с песнопением отлетела бы душа Елисея на Небеси, ну а там, в рай Божий. Куда еще?

К субботнему молению успокоился. Обвис на кресте, как мешок с костями, и голову уронил на грудь. Успокоение настало. Ни боли в суставах, ни жажды в глотке. Хвально, хоть и помутился рассудок. С Иисусом разговаривал, как с пустынником, и благословение принял двумя перстами. Слышал, будто мимо проходили с песнопениями, но никого не видел: глаза глядели в землю, и шея окостенела – башку не поднять.

Мало того, что привязан на крест, так еще и пудовая чугунная гиря оттягивает правую ногу.

Полуночная прохлада остудила тело апостола Елисея, но он ничего не чувствовал: обтерпелся праведник.

Кажется, опять послышалось песнопение?

Гудит земля, поет, ликует!..

«Хвально, хвально! – радуется Елисей. – Отмучился, должно, в земной юдоли, Господи, помилуй мя! Прими мя на Небеси... отверзни врата Господни... аллилуйя...»

Кто-то взял Елисея за бороду.

– Жив али нет, раб Божий?

Елисей таращил помутневшие глаза, но решительно ничего не соображал: где он и что с ним? Может, опять в избе старца Филарета и братья-пустынники, прозываемые апостолами, пытаются его каленым железом как еретика, совратившего общину? «Жги его, жги, пречистый Ксенофонт! – слышит Елисей голос Филарета. – Иуде посох пообещал, а он нас всех нечистым духом омрачил. Иуда!» Елисею надо бы крикнуть, что он не еретик, а праведник. Но ему мешают. Кто-то усиленно трясет его за бороду. «Елисей, Елисей?!» – слышит сладостный голос. Может, он на Небеси и святой Петр вытряхивает из его сивой бороды земную пыль? И свечки горят будто. Или то звездочки Божьи? И ангелы со архангелами услаждают его душу райским песнопением? «Хвально так-то, хвально!» И тут же мысль Елисеева угасла, как свеча, задутая ветром.

Елисей глубоко вздохнул и потянулся...

– Преставился раб Божий!

Старец Филарет набожно перекрестился и затянул поминальный псалом.

Лопарев вытаращил глаза на распятого Елисея и машинально, не помня себя, трижды перекрестился щепотью...

Филарет отступил на шаг в сторону и подал знак ладонью своим верным апостолам, чтоб они помалкивали, будто и не видели еретичного кукиша новоявленного пустынника с пачпортом. Сам Лопарев, конечно, не подозревал, какую великую беду навлек на себя щепотью!

– Сымите! – махнул рукою старец.

Тело во власянице сняли с креста, положили на землю возле березы, сложили на груди руки и укрыли сеном. Потом выкопают яму и захоронят Елисея без колоды. Был бы рядом красный лес, как в Поморье, – сосны, пихты, лиственницы, тогда бы выдолбили Елисею колоду-домовину. Но красного леса нет, а из березы колоду не выдолбишь.

Трое пустынников, таких же сивобородых, вечно нечесаных, как и Елисей, остались возле тела петь псалмы.

Возрадовались женщины, особенно белицы и молодухи:

– Мучитель наш помер!

– Иуда окаянный! Так и зырился, так и зырился!

– Кабы не он, Акулину бы не сожгли.

– Это Елисею привиделось, будто в яму к Акулине сиганул нечистый дух в виде белесого дыма.

«Как же порушить дикую крепость? – думал Лопарев, когда после всенощной вернулся со старцем к той же телеге, где его выходила от смерти Ефимия. – Чему они верят, эти люди, пребывающие во тьме и невежестве? Одну сожгли живьем с младенцем, другой на кресте умер. И все во имя Исусово? Во имя святости старой веры? Да что же это за вера?..»

Х

Но где же Ефимия?..

С того дня, как она пришла к нему в рощу, и нарядилась там в сарафан и батистовую кофту, и пропела ему песнь любви, назвала его возлюбленным своим и мужем, он ее не видел. Искал глазами на всенощном моленье – не нашел: мужики заслоняли женщин. И возле распятого Елисея Ефимии не было. Где же она?

Старец Филарет что-то уже чересчур прилипчиво поглядывал на Лопарева, будто впервые видел.

– Возрадовался я, сын мой, – заговорил Филарет, и лицо его посветлело, смягчилось. – Бог послал те пачпорт пустытника, благодать будет!.. Набирай силы, живи... Ежли надумаешь отроков обучать грамоте, и я помогу в том. Писание прозрею. Славно! Бог даст, передам те из рук в руки посох духовника и крест золотой, чтобы не порушилась старая крепость, какую заповедовал нам сохранять мученик Аввакум. Аминь.

Лопарев поклонился старцу: «Если бы мне твой посох, настал бы конец крепости».

– Как теперь жить будешь, раб Божий? В моем ли становище аль перейдешь к пустыникам?

– Мне хорошо было под телегой, отец.

У старца зло сверкнули глаза, чего не заметил Лопарев.

– Как хочешь, так и будет. Семей у нас множество – более шестиста душ. И гурт коров у нас, и два табуна лошадей, и птица всякая. Прибыльно живем, раб Божий. Общиною. Всяк по себе не тащит богатство под свою руку. Общинное достояние. И пропитание у всех единое, из одних сусеков. Также проживали в Поморье, с тем в Сибирь пошли. По душе тебе экий порядок?

– По душе, отец.

– Спаси Христос! Опосля того, как Бог послал те пачпорт раба Божьего, можно ли тебе зрить бабу?

Лопарев смутился и ответил глухо:

– Каждый мужчина, отец, от женщины рожден. От Евы отошли первые люди, от тех людей еще люди, а потом и мы народились.

– Благостно глаголешь, – прогудел старец, тяжело опираясь на пастырский посох. – Баба – она тоже тварь Божья. Вот хоша бы Ефимия.

Лопарев вздрогнул, точно от удара. Старец заметил, но виду не подал.

– Что Ефимия?

– Еретичка.

– Еретичка?

– Опеленала, ведьма, сына мово Мокея. Еще в Поморье, когда белицей проживала...

И тут Лопарев услышал от Филарета, как еретичка Ефимия возопила в монастырской келье и к ней явился нечистый, завладел ее душой и телом, а потом... погнал к святому пещернику Амвросию Лексинскому. Пещерник будто отбивался от еретички крестом, бил батоном, но искусительница оборотилась в муху и порчу навела на сухари. И когда Амвросий сожрал сухари, дух вышел из него, «яко вода из дырявой посудыны»...

– Сидеть бы еретичке на чеши в каменном подвале с донной водой, – продолжал Филарет, – да сын мой Мокей украл ее от стражи собора. Я-то не ведал, какова она белица! Ох-хо-хо!.. Как узнал, тащить хотел на собор, да Мокей сдурел и уволок ее к морю, и там проживал с ней года за три так. Потом возвратился ко мне в общину на Сосновку! «Очистилась, грит, Ефимия-то». Эко!.. Бил дурня, да мало.

У Лопарева – холод за плечами. Так вот каков «милостивый старец»!..

– Была ведьма и есть, – долбил старец. – Ни в чох, ни в мох не верует. Псалмы Давидовы и песни Соломоновы, слышь, перекладывает на мирской язык да пишет их в свои тетрадки. Пожег я те тетрадки и клюшкой лупил, чтобы вразумить нечестивку. Ох-хо-хо! Как присоветуешь, гнать ведьму из общины аль на судное моленье выставить?

У Лопарева дух перехватило. Ефимию – на судное моление? За что? За какие-то песни Соломоновы?

Старец таинственно сообщил:

– У одной бабы, слышь, от нечистого младенец родился о шести пальцах. И рога на лбу пробивались. Сожгли ту бабу. Ведаешь ли?

Лопарев притворился, что ничего не знает.

– Грех! Великий грех был! Елисей-то, который помер, сказывал: нечистый дух по общине ходит кажинную ночь в бабьем обличье. А доглядеть, какая баба, не узрел.

Старец, конечно, намекал на Ефимию.

– Елисею привиделось, что и у меня рога на лбу, – ввернул Лопарев, мучительно соображая, как защитить ее.

– И то! – согласился Филарет.

– А мне вот привиделась Ефимия в светлом сиянии, – соврал Лопарев.

Глаза старца сверкнули, как алмазы.

– Сказывай! Знамение было али как?

– Ночью так, когда в лихорадке лежал, выполз я из-под телеги воды напиться. Вижу: сидит Ефимия вот на этом пне, а вокруг головы сияние.

– Исусе! Баба ведь она, сиречь того – ведьма. Сиянию откуда?

– Жар у меня был...

– И то, – фыркнул старец, ухватившись за свой золотой крест, как спасительный якорь. – Блудница она, блудница!.. Мокей-то без мово благословения проживает с ней. Епитимью наложил на них на семь годов. Ежли за семь годов Ефимия не окажет себя еретичкой, благословлю тогда...

И тут Лопарева осенило:

– Грешно так жить, отец. Ребенок у них родился...

Филарет вздрогнул и выпрямился.

– Откель ведаешь про ребенка?

Лопарев сказал, что видел Ефимию с ребенком...

– Эко! Спрошу Марфу Ларивонову, спрошу! – погрозил какой-то Марфе, сообщив: – Ребенка отобрал я от ведьмы, чтоб не искушала чадо. Отобрал! До исхода епитимьи будет жить чадо со снохой Марфой, бабой Ларивоновой. Да не узришь! Глядь, еретичка опять возле парнишки. И бита была, а неймется!

«За что бита была? За что?» – ныло сердце у Лопарева, и он едва сдерживал себя, чтобы не высказать в глаза старцу всю неприязнь к дикому староверчеству.

Что же придумать? Как спасти Ефимию?!

А старец упрямо бубнит:

– Гореть бы ей на той березе с Акулиной нечестивой, кабы Елисей усмотрел, какая баба оборотнем ходит по общине! Не углядел. Ефимия совратила Акулину-то. Она! И Юскова парня, Семена, совращала, да не углядели.

Лопарев осмелился сказать правду:

– Не верю я, отец, чтобы Ефимия кого-то совращала и что она ведьма. Не верю! Она меня спасла от смерти. Святость в ней великая.

Филарет вытаращил круглые глаза, как белые камушки.

– Святость?!

– Если она спасает людей...

– Совращает, ведьма! Искушает, еретичка.

– Не верю, – твердо ответил Лопарев.

У старца перекосилось лицо от ярости и ноздри раздувались, но он сдержал себя.

– Не ведаешь всего про ведьму-то, не ведаешь!.. Грех-то!..

– Могу я с ней поговорить?

– С ведьмой?!

– С Ефимией.

Старец не сразу собрался с духом, что сказать. Подумал, потерябил бороду, скрипнул:

– Остра на язык, как пчела на жало. То и гляди, ужалит. Веру надо иметь крепкую и руку праведника, чтоб не поддаться искушительнице. Не совратит ли ты с веры-правды?

– Не совратит.

– Это! Молодой ишшо глаголать так-то. Погоди маленько, вот посох отдам тебе и крест золотой, тогда вершить будешь волю Господа Бога нашего и узришь: ведьма ль Ефимия али праведница.

– Если она ведьма, как же тогда она стала женою Мокея, вашего сына?

– Не жена, не жена! – отмахнулся старец.

– Как же можно жить ей с Мокеем, если она не жена?

– Неможно! Отторгну, яко тать от овна. И так не шла за моей телегой! Не шла, не шла!

Вот под этой телегой скarb паскудницы!

Старец указал на ту самую телегу, под которой скрывался Лопарев во время лихорадки. Так вот куда определил его старец!

– Мне хорошо было под этой телегой. Выздоровел, видите? Ели бы Ефимия была ведьма, разве бы она спасала людей от болезней?

Завязь четвертая

I

Что за люди? Чем они живут? Лопарев надумал побывать у Юсковых и узнать, где же Ефимия?

Мимо шла молодуха в черном платке. На плечах – гнутое коромысло и деревянные ведра с водой. Поклонилась Лопареву, торопливо проговорив:

– Спаси Христос, – и как бы невзначай резанула игривыми карими глазами.

Лопарев спросил:

– Где тут становище Юсковых?

Молодуха испугалась, плеснула воду и тихо ответила:

– За кузней Микулы. Вот там, где березы, Юсковых становище.

И пошла дальше, придерживая руками дужки ведер.

Табунок горластых ребятишек окружил гнеденького жеребенка. Не тот ли жеребенок? Кто-то из ребятишек крикнул: «Барин!» – и все разом, как воробьи, разлетелись в разные стороны, мелькая голыми пятками. И жеребенок убежал.

Лопотали реденькие березы, а кругом, куда ни глянешь, торчали пни, оплывшие розово-желтой пеной вешнего сока. Совсем недавно здесь шумела березовая роща. И вот наехали люди, облюбовали рощу и начали строиться. Почти над каждой землянкой возвышается березовый сруб с квадратными оконцами. Некоторые из оконцев затянуты пленками из брюшины – тонкой махровой оболочкой, выстилающей изнутри брюшную полость. Ее осторожно отдирали, вымачивали, промывали и натягивали для просушки на столешню.

Поодаль – три пригона для скота, обнесенные березовыми жердями. В степи виднеются стога сена. Всюду добротные телеги на железном ходу, продегтяренная сбруя, костры с тагами и печурками, поленницы березовых дров. Возле одной землянки, под навесом из жердей, соорудили мельницу на конном приводе. Пара лошадей ходила по кругу – мололи зерно. Тут же устроена сушилка для зерна с глинобитной печью. Мужики что-то мастерили – ладили сани, что ли. Возле землянок сустились бабы, старухи, ребятишки. У трех избышек, под навесами из жердей с накиданным сеном, стояли кросна и бабы ткали холст. Вот двое бородачей шорничают, а у другой землянки на самодельном станке мнут кожи. Возле кузницы, построенной из березовых бревен, два мужика натягивают железную шину на дубовое колесо.

Лопарев остановился, пожелал мужикам доброго здоровья.

Мужики разом поднялись, поклонились в пояс:

– Спаси тя Христос, барин.

Точно так же когда-то юного Лопарева приветствовали крепостные мужики, когда он наведывался в имение отца.

– Я не барин, люди.

– Были на моление-то, были. Пустынный таперича. Пачпорт Господь послал.

Лопарев смутился и глухо ответил, что явился в общину не с пачпортом пустытника, а в кандалах.

Один из мужиков низко поклонился.

– За кандалы – земной поклон тебе, праведник. Сказывал наш духовник, на царя будто поднялись охицеры и солдаты во граде-блуде. Славно то! И я бы пошел на царя с топором.

– Настанет еще время, – сказал Лопарев.

– Дай-то Бог! Одно восстание порешил Анчихрист, другое объявится. И с топорами пойдут, и с ружьями.

Из кузницы вышел Микула. Рыжая борода горит на солнце, как золотой оклад иконы.

– Спаси Христос! – поклонился Лопареву. – Про восстанье, слышу, толкуете. Дай-то Бог! Всей общиной пошли бы, чтобы порушить крепостную неволю да престол царя-анчихриста.

Лопарев залюбовался: какой же богатырь этот Микула. Плечи – руками не охватишь. Глаза молодые, пронзительные.

– С тобой бы, Микула, не страшно на эскадрон кинуться.

– Чаво там, – осклабился Микула. – За вольную волюшку, барин, и башки не жалко. Да вот проехали мы с общиной всю Расею, почитай, а не слыхивали, чтоб где-то народ топоры точил да в кузнях шашки ковал. Живут, яко кроты слепые, да хрип гнут на барщине-дворянщине аль на подрядчиков. На Волге видывали лямочников – бурлаками прозываются. Барки тянут купеческие, опосля того зелье хлобыстают да песни орут на всю Волгу, яко свиньи. Люди то аль нет? Где у них прозренье, злоба? Нету ни прозренья, ни злобы. Ярмо укатало.

– Укатало, укатало, – подхватили бородачи.

К кузнице подошли еще мужики. Кто-то придвинул Лопареву березовую чурку, и он сел. Микула попросил рассказать народу про восстание, какое свершилось в Петербурге: с чего началось и как царское войско подавило то восстание.

– Не бойся, барин, – предупредил Микула. – Из нашей общины слово не убежит, с нами останется. Могут огнем пожечь всех, а человека из общины не вымут.

Лопарев долго говорил, как вступил в тайное общество «Союза благоденствия», а потом в Северное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами.

Микула слушал и вдруг перебил Лопарева:

– Вот бы тут и объявиться Стеньке Разину!

Глядя на Микулу и на всех мужиков, рассуждающих толково, Лопарев невольно подумал: как же эти мужики могли поверить, что шестипалый младенец Акулины от нечистого?

– Кабы такую силу, как у Наполеона была, – заметил один из мужиков, в суконной однорядке, пожилой бородач, но еще не старик, хотя голова усеялась проседью, – тогда бы и царю не устоять. Эх и силища шла с Наполеоном!.. Маршалы с генералами у него башковитые, зело борзо! Огнь-пламя!

– Негоже, Третьяк, – возразил Микула. – Наполеона поганого хрещеная Русь не примет, скажу. Кабы Кутузова на нашу сторону али Суворова с войском!

Лопарев пристально поглядел на мужика в суконной однорядке. Нос ястребиный, гнутый, а черными глазами так и стрижет. Так вот он каков дядя Ефимии, Третьяк.

Третьяк поклонился.

– Спрашивали, барин, про становище Юсковых. Милости просим. – И еще раз поклонился.

Лопареву показалось, что Третьяк усмехнулся в свою кудрявую седеющую бороду.

II

Когда отошли от кузницы, Третьяк спросил:

– Который вам год, барин?

– Двадцать семь.

– Из князей, должно?

Лопарев подумал: «Хитер Третьяк! Знает же, что не из князей, а спрашивает».

– Каторжник, oprичь того государственный преступник, лишенный чина и сословного звания. Другого звания не имею пожизненно, – ответил Лопарев, принаравливаясь к языку Третьяка.

Третьяк усмехнулся, поблескивая черными глазами:

– Со мною, барин, глаголать можно, как от сердца к сердцу. Потому: принял вас, яко брата. Я вить тоже из кандалников, oprичь того государственный преступник. Не сносить бы мне башки, кабы Наполеон в Москву не заявился. Служил я в кутузовском войске, в Семеновском гренадерском полку. Возле Смоленска заковали меня в кандалы и отправили в Москву на следствие. Потом в Петербург повезли бы, зело борзо!.. Подбивал солдат на восстание. Самое время было, барин, чтоб потрошить Расею. Кабы восстание свершилось да Наполеон помог бы тому, не устоял бы престол. Не вышло того восстания, зело борзо! Народ хоша и в кабале, а за Русь на смерть пошел. Отчего так? Не разумею. А по мне – хоть бы всю Расею под топор, не жалко, коль нету в ней вольной волюшки. Мой дед, Данилов, в стрельцах ходил, а волю так и не добыл. Все кабала да холопство! И за ту Расею на смерть идти? Князья да дворяне, да царская челядь вино пьют, заморскими игрищами тешатся, а народ стонет. Тако ли, барин?

Ноздри Третьяка раздулись, как у хищной рыси, и весь он подобрался, вытянулся, твердо и жестко вышагивая в яловых продегтяренных сапогах.

– Волю завоевывать надо без Наполеона, – ответил Лопарев. – Иноземного ига русский народ не примет.

Третьяк упрямо возразил:

– Не было бы ига, барин, Наполеон и так ушел бы из Расеи. Какая ему тут прибыль? Кабы войско наше поднялось супротив царя, как мы замышляли, и Наполеону пригigli бы пятки. Потому вся Расея огнем бы занялась! Так думали свершить. Не вышло того, зело борзо. На тайном сборе в Смоленске взяли нас, грешных, числом в осьмдесят душ, со унтерами, со поручиком Лехвириевым. Из дворян такоже, да в разоре именье было. Брательники прокутили да на ветер пустили. Умнуший поручик был! Не дался в руки. Двух порубил шашкой и сам ткнул себе шашку в сердце. А нас, грешных, скрутили, а потом и в цепи заковали, в Москву повезли, чтобы пытать, где таится гнездо наше. Кабы проведали, порешили бы Преображенский монастырь, да Наполеон занял Москву...

Третьяк остановился возле изгороди в три жерди. За изгородью – избушки четыре. Не полуземлянки, а настоящие избушки из березовых бревен. Рядом шептались тенистые березы. На шестах – рыболовные сети, перевернутая вверх дном лодка-долбленка, какие-то чаны. Возле чанов на жердях просушивались сырые кожи, бараньи овчины, еще не черненные и не дубленные. Поодаль – телеги, рыдваны, два навеса.

Возле чанов стояли три женщины с ребятишками. У первой избы горбился бородатый старик, шупленький, в холщовой рубахе под синим кушаком, в мокроступах. Третьяк назвал его большаком становища, Данилой Юсковым.

На старшей дочери Юскова женат был Третьяк и тоже носил фамилию Юскова, пояснив, что свою фамилию пришлось запомнить: в бегах числится. «В нашем становище, – говорил Третьяк, – девять мужиков, одна старуха, семь жен, три белицы на выданье, два парня, вдовец Михайла, жену которого, Акулину, огню предали».

Как узнал Лопарев, из девяти мужиков, проживающих под Юсковой фамилией, только трое настоящие Юсковы. Остальные – беглые люди, кандалники, фамилии свои запомнили на веки вечные, что и посоветовал Третьяк сделать Лопареву.

– Филаретушка фыркает ноздрями на наше становище, да сила у нас немалая, – обмолвился Третьяк. – А главное – Микула-кузнец. Наикрепчайший праведник и тоже под фамилией Юскова. Втапory двум жандармам башку проломил!

Все это сказано как бы между прочим, мимоходом, покуда Лопарев здоровался со старцем, еще с двумя мужиками и курчавым синеглазым молодым вдовцом Михайлой.

Данило Юсков пригласил гостя в избу.

Первое, что бросилось в глаза Лопареву, – богатая рухлядь. На полу дорогие ковры, и стены увешаны коврами. На одном из ковров – курковые ружья, окованные сталью рогатины, с какими на тяжелого зверя охотятся. Стол застлан скатертью. Вместо лавок и лежанок – высокие сундуки, покрытые коврами. И в сундуках, надо думать, немало рухляди.

Старец Данило позвал в избу двух баб, и те стали собирать на стол, ничуть не стесняясь Лопарева и не пряча глаз. В открытую дверь уставились ребятишки, и никто их не гнал батогом.

Третьяк по знаку старца зажег свечи на божнице, потом пригласил Лопарева на малую молитву, и все, как по уговору, стали на колени, помолились, а тогда уже Данило усадил гостя в красный угол.

– Нету у нас той лютости, как у духовника, – сказал Третьяк, усевшись рядом с Лопаревым. – Бог, Он завсегда еси не втуне, а в ребрах.

Данило Юсков хихикнул в реденькую бородку:

– Про Бога памятьуй, сиречь того – про себя не забывай.

Михайла, чубатый красивый парень, еще не переживший каменеющего на сердце горя утраты жены Акулины с младенцем, спросил у Лопарева, многих ли офицеров в кандалы заковали и на каторгу отправили?

Лопарев ответил, невольно подумав, что в становище Юсковых известны все подробности про восстание на Сенатской площади и что Ефимия предана Юсковым и душою и телом...

В избу вошел совсем молодой парень, безбородый, кудрявый, принес лагун вина. Третьяк назвал его Семеном и сказал, что отец Семена еще десять лет назад пропал без вести в Студеном море. Как ушел на промысел, так и не вернулся.

Данило заговорил про Енисей, куда еще прошлой осенью уехал сын Данилы Поликарп с Мокеем Филаретовым и с другими единоверцами.

– Толкует: Енисей – река дивная, рыбная, невиданной благодати и пустынности, – говорил Третьяк. – Живут там наши единоверцы в тайге будто. Лесу там – хоромы строить можно. И от царя не близко – не дотянется. Туда и мы поедем, чтоб корни пустить в землю сибирскую. На вольной земле жить можно, барин. И хлеб сеять, и в тайге зверя промышлять, и золото, толкуют, есть на малых реках, какие текут в Енисей. Таперича и ты с нами, праведник. Бог послал те пачпорт пустытника.

– Благостно, благостно, – поддакнул Данило.

В который раз Лопареву напоминают о пачпорте! Не смеются ли над ним Третьяк со старцем Данилой? И откуда Ефимия взяла тот пачпорт? Не от Юсковых ли? Уж больно хитер дядя! И глаз цыганский, черный, и в заговорщиках побывал.

Вино разлили в серебряные кубки. Из таких кубков пивали бояре да стрельцы.

Не зря Филарет обмолвился: «Воровской дуван везут». Малую долю, наверное, положили на алтарь раскольничьего собора, ну а себе – сокровища, драгоценности, золото. И вот бегут в Сибирь с воровским дуваном под прикрытием Филаретовой общины.

Догадка Лопарева подтвердилась, когда Третьяк сказал, что вся сила «жить единым духом, чтоб не допустить подушной переписи и тем паче вопросов, кто и откуда попал в общину».

Михайла-вдовец не удержался:

– Оттого и Акулину сожгли, от «единого духа»! Кабы Микула не помогал Ларивону...

– Молчи, дурак! – осадил Данило.

– За что сожгли-то, барин? Слышали? – Синие глаза Михайлы жалостливо помигивали. – Шестипалый, сказали. От нечистого-де...

– Молчи, грю, в застолье, – оборвал Данило.

– Зело борзо! – крикнул Третьяк.

Михайла хотел уйти, да Третьяк удержал.

Лопарев слушал и молчал, поглядывая то на одного, то на другого.

– Оказия вышла такая, зело борзо, – начал Третьяк издалека, предварительно глянув в оконце: нет ли кого чужого в ограде становища. – Должно, слышали вопль Акулины? Про шестипалого младенца что толковать! Каких бабы не родют. И слепых, и горбатых, и ноги у которых срослись в кучу. От уродства то, зело борзо! Все знаем, барин. Да вот апостолы-пустынники, какие суд и веру держат при самом Филарете, смуту навели: в Юсковом становище, мол, нечистый народился. Особливо старался Елисей, какой ноне сдох на кресте. Узрил, будто Акулина тайно якшается со нечистым, и всю общину на то подбил со благословенья Филарета. Мало ли в общине голытьбы да верижников? Только и ведают, что лоб пальцем долбить, а на работу квелье, зело борзо. Зазорно им, что в Юсковом становище всего вдосталь и живут, как единый перст – не разymeшь. Вот и порешил Филаретушка вывернуть Юсковых через ту Акулину.

– Также! Также! – подтвердил Данило.

– Не сидели бы в застолье, барин, кабы не дали Акулину, – подвел итог Третьяк. – Три ночи думали так и эдак. Сна лишились. А верижники с ружьями обложили все наше становище. Жди огня-пламя! Зело борзо!

– Также. Также, – кивал Данило.

– Надумали тогда: стерпеть, и Микулу выбрали, чтоб помог вязать Акулину, яко блудницу и нечестивку.

Лопарев отодвинул кубок вина...

– Суди сам, барин, – продолжал Третьяк, – в нашем Юсковом становище – шестеро каторжных, беглых. А всего в общине за пятьдесят беглых, oprичь холопов, какие ушли от помещиков. Когда мы едем общиною, к нам подступу нет. Из Поморья общиной вышли; держимся старой веры, печати и спроса Анчихристов не признаем! Держали нас на Волге и в Перми, а потом – идите, зело борзо, паче того – в Сибирь. Дале гнать некуда. Ну а если по семьям стали бы перебирать?..

Лопарев подумал: многих бы заковали в кандалы!.. Ну а сам он разве не беглый каторжник?

Неспроста Ефимия удержала его в ту ночь возле телеги, не дала ввязаться в судное моление. И что бы он мог сделать, Лопарев, одни против сотен фанатиков?

«Четвертым гореть тогда!..»

И спросил про Ефимию: где она сейчас?

Третьяк подумал, прищурился:

– И я не зрил благостную на всенощном моленье, зело борзо!

– Не было, не было, – сказал Данило.

Михайла-вдовец угрюмо заметил:

– Может, на костылях висит?

Третьяк вздрогнул и выпрямился:

– Спаси Христос!

Данило тоже перекрестился.

– Бабы, идите отсель! Живо!

Бабы тотчас ушли из избы.

Лопарев поинтересовался: что еще за костыли?

– Филаретовы, – ответил Третьяк. – В избе у него в стене костыли набиты, во какие. К тем костылям веревками привязывают еретика, когда тайный спрос вершат апостолы Филаретовы. Ох-хо-хо!

Лопарев вспыхнул:

– Кто дал право Филарету вершить подобные судные спросы?

– Тихо, Александра, тихо! – урезонил Третьяк. – Экий порядок с Поморья тащим. Филарет-то – духовник собора!.. И апостолов из пустынников набрал, чтоб держать крепость веры. И всю общину в страхе держит – не пискни, огнем сожгут. Может, порушим ишшо крепость Филаретову. Потому: Сибирь – не Поморье!

Данило Юсков перепугался, замахал руками:

– Негоже, негоже, Третьяк! Филаретушка – святитель наш многомилостивый!..

– Чаво там! – отмахнулся Третьяк. – С Александрой толковать можно в открытую, зело борзо. Не из верижников!

– Один Бог ведает.

Лопарев заверил, что с ним можно говорить в открытую, и что он не принимает крепость, и даже готов высказать это на собрании общинников, чтоб укоротить руки Филарета.

– До рук далеко, Александра, – вздохнул Третьяк. – Дай до Енисея доползти, а там...

Третьяк недосказал, что будет «там», но Лопарев догадался и, вспомнив разговор с Филаретом про Ефимию, сказал о нем. Все слушали внимательно.

– Беда, должно, беда! – охнул Данило. – Филаретушка и сына своо Мокея потому отправил на Енисей, чтоб извести благостную!..

– За что извести? За что? – не понимал Лопарев.

Третьяк выпил вина, попросил Семена наполнить кубки, а тогда пояснил:

– Сказ короткий, Александра. Филаретушка чует, как земля у него из-под ног уходит. Зубами душу не удержишь, зело борзо! Также. И крепость Филаретова скоро лопнет – народ Сибирью дохнул, а не Поморьем верижным.

– Но при чем же здесь Ефимия?

Третьяк помигал на Лопарева, удивился:

– Али не говорила Ефимия, как ее в Поморье еретичкой объявили и на пытку в собор вели?

– Так ведь это же было в Поморье!

– Много надо сказывать, Александра, – покачал головой Третьяк. – Тут ведь какая тайна? Мокей-то, сын Филаретов, силища невиданная, зело борзо! За Ефимию он и самому Филарету башку оторвет.

– Также, – кивнул Данило.

– Вот и нашла коса на камень. Порешить Ефимию – порешить Мокея. А тут еще в Поморье заявилось царское войско, не до Ефимии!.. Филипповцы пожгли себя, а Филарет с общиной в побег ударились, и мы с ними. Едем вот, зело борзо!.. Тут и пронюхал Филаретушка, что в Юсковском становище нету для него опоры, а поруха будет. Мало того: Ефимия в самом становище духовника – совсем беда. Знали мы: кабы Акулина на тайном спросе, когда висела на костылях, назвала Ефимию как искустельницу, не жить бы Ефимии!.. Да мы наказали: смерть прими, а благостную, которая ребенка твоего приняла да сокрыла, что он шестипалый, вздохом не почерни!

– Также. Также, – кудхтал захмелевший Данило. – Благостную оборони Бог хулить.

Лопарев задумался. Что-то тяжкое, тревожное прищемило сердце.

– Не может быть! Не может быть! – проговорил он, сжимая голову ладонями. – За что? За что?

Третьяк согласился:

– Нету никакой провинности! Чиста, как слеза Христова. Присоветую тебе так, Александра, объявись верижником да возьми себе в тягость ружье.

Семен, почтительно молчавший, когда говорили старшие, робко сообщил, что видел Ефимию вчера, до того как на всенощное моление вышла община.

– За травами собиралась будто.

Третьяк повеселел:

– К вечеру, может, возвратится. Подождем. На всенощное моление Филарет мог и не пустить ее. На судное моление не пустил же.

Лопарев тоже успокоился. Не так просто повязать Ефимию! И решится ли Филарет скрутить единственную лекаршу общины да выставить на судный спрос? И ко всему – Юсковы. Стерпят ли они второе душегубство или возьмутся за рогатины и ружья?

III

Из становища Юсковых Лопарева пошел провожать белобрысый парень Семен. Неспроста тоже. Мужики не хотели показываться с Лопаревым на виду всей общины.

Еще в застолье Лопарев пригляделся к Семену: парень бравый, румяный, косая сажень в плечах. Золотистый пушок покрыл его губу и чуть припушил щеки. Не зря, может, старец Филарет обмолвился, что Ефимия совращала несмышленища Юскова. Да какой же он несмышлениш?

– Который тебе год, Семен?

– Осьмнадцатый миновал, барин.

– Бороды еще нет.

– Будет, барин. От бороды, как от подружии, не отвяжешься.

– Грамотен?

– Читать и писать сподобился.

– Где же ты учился?

– На Выге. Была там школа при монастыре.

– Отец твой погиб?

– А кто иво знает! Море, оно хоша и шумное, а бессловесное. Заглотит, и аминь не успеешь отдать.

– Ну а мать... жива?

– И мать, и две сестры. Матушка на стол собирала, видели?

– А...

Помолчали. Лопарев опять спросил:

– Как народ зимовал вот в этих землянках? Морозы ведь в Сибири.

– Не морозы, барин, – само огневище. По неделе из землянок и избушек не вылазили.

Одна семья в пять душ замерзла.

– Разве нельзя было остановиться на зимовку в какой-нибудь деревне?

Семен боязливо оглянулся:

– Кабы можно было!.. И деревни проезжали, и вокруг городов по тракту объезжали, а на зимовку в землю зарылись. Потому – вера наша такая. Крепость Филаретова, значит.

– Ты рад такой крепости?

Семен испугался. Кровь кинулась ему в лицо, и он чуть в нос, с запинкой пробормотал:

– Не совращайте, барин!.. Грех так-то пытаться...

Лопарев невесело усмехнулся:

– А я-то думал, что ты не из пугливых.

– Спытайте в другом, а не в верованье, барин. Нонеча вот, до того как вы объявились, разорил я логово волчицы. Шел степью и наткнулся на логово. Без палки и без ружья был. Потешно так!.. Вижу, ползают в траве волчата, пять штук. Самой волчицы не видно. Я снял рубаху, и всех волчат сложил туда, и завязал рукавами. Тут и волчица объявилась. Ох, лютая!.. Хорошо, что я сапоги тот раз тащил в руках. Кабы видели, как я ее сапогом бил по морде. Во потеха!.. Она-то кидается, а я – бах, бах по морде, да потом как схвачу за хвост!.. Тут и кинулась она по степи – на коне не догнать.

Вот он каков, поморец филаретовского толка! На волчицу с голыми руками не убоился кинуться, а на судном моленье, когда безвинную Акулину с младенцем жгли огнем, онемел от страха. В пору хоть самого жги.

– Старец Филарет говорил мне, будто тебя хотела совратить Ефимия, невестка Филаретова?

Семен тонко усмехнулся:

– Наговор, барин. Мало ли что старцам не привидится? И невестка она никакая – ни жена Мокея, ни приживалка, никто. Под ярмом живет. Мокей-то – кабы видели! Чудище рыжее. Силища у него страшная. Подковы гнет, яко гвозди. Костыли в бревно кулаком забивает. Положит на костыль железяку, чтоб не поранить руку, как трахнет, так костыль в бревно.

– А что, если Мокей узнает, как Ефимия ходила с тобой за травами?

– Дык што? – пожал плечами Семен. – Мое дело третье. Позвала – пошел. Ко Гнилому озеру водила. По горло лазил в той воде, траву выискивал, на которую она показывала с берега. А пустынный Елисей вопль поднял: искушала, грит. Кабы искушала!.. Ефимия не такая, барин.

– Какая же?

– Благостная. Так ее все зовут. А по уму-то – страх Божий. Говорить говорит, а что к чему, не поймешь. Будто из Писания, а как проникнешь, совращение с веры получается.

Лопарев ничего не ответил. Знал ли он сам Ефимию? Не ее ли волю исполнил?..

«Зреть хочу тебя просветленного и ясного», – вспомнил слова Ефимии и будто увидел ее перед собою – страстную, призывную и желанную. Как бы он сейчас обрадовался, если бы она шла к нему навстречу!

Нет, не Ефимия шла навстречу, а гигант Ларивон, переваливаясь с плеча на плечо.

– Космач идет, – буркнул Семен, на шаг отступив от Лопарева.

Ларивон и в самом деле смахивал на космача. Борода рыжая, как у Микулы, отродясь не чесанная, взгляд исподлобья, руки длиннущие, ухватом, будто Ларивон что-то нес в охапке.

– Ищу тя, праведник, – протрубил он, глядя в землю. – А ты звона где гостевал! У Юсковых. Ефимия там обед сготовила.

У Лопарева отлегло от сердца: Ефимия ждет его!

– А ты ступай, нетопырь, – погнал Ларивон Семена и, глядя куда-то вбок, в сторону степи, нехотя сообщил: – Батюшка наказал на охоту нам идти на всю ночь. Волки одолевают. Трех жеребят задрали. На приступ берут, тати поганые. Вот и пойдем ноне на логовище.

Лопарев обрадовался: на охоту так на охоту. Давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок.

Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг моленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте. Некоторые из них с ружьями. Во власяницах, босоногие, косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни.

– Что они тут собрались?

Ларивон тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом:

– Поминать будут Елисея. Преставился раб Божий.

«Ничего себе преставился!..»

На бородатом лице Ларивона – ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как обух топора, лице?

Ефимии возле телеги не было. Понятно: там, где Ларивон, не жди Ефимию.

В прокоптелом котелке – щи, на чугунной тарелке – жареная рыба, полкаравая хлеба на белом рушнике. Возле пепелища – бахилищи на мягкой подошве, портянки, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу.

– Может, поужинаете, коль на обед не успели? А, у Юсковых!.. Тамо-ка жратвы от пуза. С портянками обувку носили, праведник?

– Не носил. Но сумею обуться.

– И то. – Задрав бороду, крикнул: – Лука-а!.. Ну да я сам управлюсь. Снаряжайтесь, праведник.

И охота будет не в радость с таким космачом. Ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать Третьяка с Микулой!

Ужинать не стал. Обулся, оделся и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева. Грозный шпиль Петропавловского собора. Медный всадник, Зимний дворец, Мореходное училище, академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто сто лет назад!..

Над Ишимом плыли реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зарница прыснула у горизонта.

– Сготовились, барин?

Лопарев принял от Ларивона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня, Луку, сына Ларивона.

Пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами, вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовенку, похожую на колодезный сруб; потом свернули в степь, на восход солнца.

И все молча, молча, будто шли глухонемые.

Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись.

– Чего замешкались? – зыкнул Ларивон.

Ничего не поделаешь: надо идти, с такими не разговоришься.

Степь куталась в черное покрывало. Горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала.

Так прошли версты три от становища общины.

Ларивон остановился, подошел к Лопареву:

– Эко! С пачпортом древним объявился, а ружье взял.

Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Ларивон.

– С чем же идти на волков?

– Сказывай, барин, – фыркнул Ларивон. – Ежели пустынный объявился под пачпортом, он идет по земле со словом Божьим, а не с ружьем. Али ты верижник?

– Я не верижник. – Лопарев насторожился: тут что-то неладно.

– Давай ружье-то, праведник! – И без лишних слов Ларивон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом.

Двое бородачей и безусый Лука – парень, бревном не ушибить, подошли к Лопареву плечом к плечу.

– Я не могу идти на охоту, – догадался он, что попал в ловушку.

– Ничаво, – осклабился гигант Ларивон. – Пойдешь, барин!.. А ну вяжите!

И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот.

IV

...Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неуправляемых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову.

Будучи духовником Церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь.

Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений подвергаемых пыткам и казни.

Когда Филипп-строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников Поморья, чтоб огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в восьмидесяти трех срубках, числом в тысячу двести сорок душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин чином принявших смерть огнем.

Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума – неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батогами, ни сибирские морозы на Ангаре и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубке с дьячком Федькой, а веры не отринул.

«Такоже, как святой Аввакум, и я буду держать свою крепость», – поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы.

И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из Поморья в Сибирь.

На Волге сожгли деву, еретичку.

У города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками.

На Кане сожгли семью в четыре души – проклинали Филарета, а это все равно что проклинать самого Иуса!..

И вот опять Филарет проведаль про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой!..

Если Филарет говорил: «Отдам те посох и крест золотой», – неискушенный так и понимал: отдаст старик. В эту же ловушку угодил Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался. Вот и сдох на кресте.

На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уже, возрадуешься, барин».

V

Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его: «Сготовились, барин?»

«Близится мой тягчайший час испытания, – молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям, вбитым в стену. – Помоги ему, Богородица Пречистая! Спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправшие Бога и Сатану, могут свершить свой суд, не ведая, что осквернили само Небо! Спаси ему жизнь, Богородица, ни о чем более не молю тебя. Пусть я сгину, и пусть пепел мой развеют по ветру, но спаси жизнь кандалянику рабу Божьему Александру!..»

Ефимия не признавала никаких святых, кроме Богородицы, и попраля бы самого Иуса Христа за скверну, какую творят пустыnnики Филарета, прикрываясь Его именем. Но Богородицу, в муках родившую Сына Человеческого, попрасть не могла.

Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала: если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить: он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого ехидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела.

VI

...В прошлый вечер Филарет позвал Ефимию в свою моленную избу, где расселись по лавкам шестеро тайных апостолов-пустынников: Калистрат, Павел, пречистый Тимофей, благостный Иона, Ксенофонт и бесноватый, непорочный Андрей.

Ефимия не смела прямо зреть старцев и тем паче стоять перед ними на ногах, потому и опустилась на колени, потупя голову.

Филарет ласково спросил:

– Сготовилась ли ты, дочь, навстречу праведнику?

Ефимия низко поклонилась:

– Сготовилась, батюшка.

– Знаешь ли ты, что праведника Господь послал со своим знамением, с кобылой и жеребенком?

– Слышала, батюшка.

– Рада ли знамению Господню?

– Рада, батюшка.

– От чистого сердца пойдешь встречать праведника?

– От чистого сердца, батюшка.

– Хваально! Хваально! – И с тем же умилением, обращаясь к своим апостолам, Филарет спросил: – От сердца ли говорит сия дочь, пребывающая в храме Господнем? Скажи, смиренный апостол Павел.

Смиранный Павел – лобастый, лысый старик лет шестидесяти, свирепый женоненавистник, сухой и длинный как жердь, поднялся с судной лавки, вышел на середину избушки, ответил поклон духовнику, а тогда уже ткнул ладонью в сторону Ефимии:

– Нечистый дух глаголет ее устами, святой духовник, отец наш вечный и нетленный, батюшка Филарет.

(Таков был торжественный титул старца.)

Филарет воздел руки к бревенчатому, накатному потолку, возопил:

– Избави, Спаситель, от нечистого духа! Вразуми мя, тварь неразумную, слабую, в доброте пребывающую и в благодати к рабам Божиим! Вразуми, Господи, пресвятых апостолов! Глаголь, праведный апостол Андрей.

Павел сел на лавку, Андрей поднялся. Худенький, весь ссохшийся, смахивающий на гнутое коромысло, упал на колени и затрясся, как припадочный.

– Зрю я, отец наш духовный, сиречь спаситель наш сладчайший и сиречь раб Божий и нетленный, батюшка наш Филарет. Зрю я, червь земной, пребывающий в Боге, и Бог, пребывающий во мне; зрю я, старец наш благостный и умиленный, в избе твоей, во Божьем чертоге, пред святыми образами стоит на коленях поганая блудница, сиречь ведьма и нечестивка, сиречь ехидна, какая умыслила ввергнуть нас всех в геенну огненну, в смолу кипучу чрез Юсковых, еретиков поганых. Погибель будет! Погибель!

У Ефимии дух занялся и ноги налились холодом, как чужие стали. Она не верила собственным ушам, что все это слышит наяву, а не во сне. Это же судный спрос? Судный спрос! Что же замыслил свершить над ней «спаситель сладчайший, благостный и умиленный» батюшка Филарет?

Апостолы затянули псалом во спасение души нетленного Филарета. Сам Филарет молитвенно сложил руки на золотом кресте, как бы говоря: «Я – вечный, нетленный, а вы, апостолы, пойте мне аллилуйю! Услаждайте душу мою райским песнопением!»

Пуще жизни старец Филарет возлюбил земное почитание, чтоб хвалили его рабы Божьи и приближенные апостолы, как самого Спасителя, и чтоб на тайном судном спросе апостолы видели в нем не духовника, а Иисуса Христа.

Редко кто оставался в живых после судного спроса. И Акулина с младенцем побывала на тайном спросе, и апостол Елисей, и семья Кондратия-хулителя. Так же вот учинили тайный спрос, а потом сожгли в лесной глухомани на Каме, завалив мужа с женою и двумя отроками-сыновьями пихтовым сухостойником так, что и кости сгорели.

И вот Ефимия...

Выслушав апостола Андрея, старец обратился в Калистрату:

– Ума у тебя много, Калистратушка. Глаголь!

Калистрат – мужик лет пятидесяти пяти, сытый, размашистый в плечах, с горбатым носом, как у турка, черноглазый, когда-то попранный из Петербургской Духовной академии за святотатство и непочтение «Божьего помазанника Александра», как-то странно, через плечо глянул на Ефимию, ответил:

– Братия, воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, сиречь самому спасителю премудрому, преблагостному батюшке Филарету!

– Аллилуйя! Аллилуйя! – гаркнули в пять глоток; у одного из апостолов – Ионы глухого, дважды урезали язык в Соловецком монастыре, откуда он бежал потом в Поморье. Иона не пел и ничего не слышал, только долбил лоб двуперстием.

Калистрат сел на лавку, так ничего и не сказав про Ефимию.

– Благостно, благостно, Калистратушка! – похвалил Филарет и впился в пунцовое лицо апостола. – Скоро, может, отдам тебе пастырский посох и крест золотой. Возрадуемся, братия!

– Аллилуйя! Аллилуйя! – возрадовались апостолы, кроме самого Калистрата.

Понятно: старец пообещал посох и крест золотой – не заживешься на белом свете! Готовься аминь отдать. Из двенадцати апостолов, какие были возле старца в Поморье семь годов назад, в живых осталось шестеро, и только один умер своей смертью...

(Когда шла тайная вечеря, Елисей пятые сутки висел на кресте.)

Калистрат вспотел в своей толстой грубой власянице из конского волоса и верблюжьей шерсти и не слышал, как Филарет дважды спросил у него, что же он скажет про Ефимию; опять вышел на середину избы и поклонился в пояс:

– Хвально ли мне, отец наш духовный, допрежь слова твоего и братьев моих глагол держать? Как же я буду крест золотой носить, если нет у меня ушей, яко слышащих, и вразуменья Господня, чтоб суд вершить?

Филарет мотнул головой, как рассерженный бык, и не сразу нашелся что ответить Калистрату.

– Также. Также, – пробормотал сквозь зубы Филарет, и шея его налилась кровью. Разорвал бы он Калистрата за поучение перед апостолами, но надо стерпеть. Настанет час и для Калистрата. – Говори, пречистый Тимофей. Уста твои богоугодные и дух нетленный в теле твоём.

Ровесник Филарета, семидесятипятилетний Тимофей, во власянице и в посконных штанах, босой, бухнулся на колени и возопил с осатанелостью:

– Ехидну зрю! Ехидну! О ста главах, о четырех хвостах, о мильене ядовитых жал! Погибель будет! Погибель! – И затрясся, отползая к лавке.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... – затащил Филарет и, обращаясь к апостолу Ксенофонт, поклонился ему: – Уста твои, возлюбленный мой Ксенофонт, разуменья Господнего! Посветли крест мой, праведник.

Ксенофонт облобызал крест и, ткнув двуперстием в сторону Ефимии, прорычал:

– Ехидна, ехидна! Сука четырехногая, какую подослал в общину Сатано! Погибель будет, Юскова змеища в храме Господнем, батюшка мой святейший, сиятельнейший, Богом дарованный во спасение душ наших, червев земных. Судный спрос вершить надо, батюшка Филарет!

– Благостно, благостно, – еще раз поклонился Ксенофонту Филарет и подозвал знаком руки безъязыкого и глухого Иону. Тот подполз к столу на коленях. Филарет ткнул рукой на Ефимию, потом приложил ко лбу два пальца, потом руки скрестил на груди, что означало: если Иона признает Ефимию еретичкой, должен приставить ко лбу два пальца, если праведницей – показать крест.

Иона забулькал что-то обрезком языка и показал два пальца да еще пошевелил ими: еретичка!

Ефимия свалилась с коленей...

Филарет вышел из-за стола и, не обращая внимания на Ефимию, повернулся к иконам, затянул псалом, а вместе с ним и апостолы.

– Свершим волю Твою, Господи! Вяжите ведьму. Вяжите. Веревки на крюке висят.

Ефимия схватила Филарета за ноги:

– Ба-а-а-тюш-ка-а! Помилосердствуй! Сын у меня от сына твоего Мокея. Ба-а-а-тюш-ка!

Филарет пнул Ефимию:

– Ведьма!

Апостолы схватили Ефимию и, толкая друг друга, повалили лицом в земляной пол, заломили руки, начали вязать.

Калистрат поднялся и опять сел на лавку.

– Батюшка-а-а!..

– Кляп в рот забейте! – Филарет еще раз пнул Ефимию, свирепо кося глазом на Калистрата. Теперь это был не тот немощный старец, каким он любил показываться на людях и на открытых молениях, а неистовый, свирепый старик, с раздувающимися ноздрями тонкого, чуть горбategoся носа, твердо прямящий спину и неумолимый, как железо. Ефимии заткнули тряпкой рот и поволокли к стене. Филарет поторапливал: пора идти на общинное моленье навстречу праведнику к роще.

– Крепше вяжите на костыли, чтоб не сползла, как тогда Акулина-блудница!

Апостолы добросовестно исполнили волю духовника.

VII

Заведено было так: тайные апостолы избирались раз в пять лет на большом благовещенском моленье. Такой порядок существовал в Поморье, где у Филарета было пустынников более двух тысяч душ (до того, как откололся от общины Филипп-строжайший).

В Поморье пустынники жили в лесах, охотничали, странствовали по всей Руси, от Волги до Днепра, и раз в пять лет стекались на большую службу Благовещенья. А потом беда пришла: Церковный собор объявил еретиками пустынников с ружьями и запретил сборища на реке Сосновке, где проживали Филарет с Филиппом. Мало того, Филипп с Филаретом растолкнулся, и пустынники не знали, куда им кинуться. Филипп возопил: если пойдете со мной в огонь – спасены будете! Более тысячи пустынников сожгли себя.

Апостола Митрофана в Поморье удушили...

Апостол Елисей на кресте висит...

Шестеро под рукою Филарета, считая Калистрата. Но и Калистрат, конечно, не заживется. «Погоди ужо, боров упитанный! Возопишь, кобелина!»

Из всех пустынников, в том числе и апостолов, только у девятих были «страннические пачпорта», и те не древние соловецкие, а поморские, Филиппом писанные и печатью Филаретова посоха припечатанные.

И вдруг барин Лопарев объявился с древним пачпортом...

Пустынники и сам старец до того оробели, что не знали: петь ли им аллилуйю или анафему? Но анафеме предать пустынника с пачпортом – попрасть неписанный устав старой веры, почитаемый с 1666 года!

Ничего не поделаешь, пришлось провозгласить «чудо» да еще свершить всенощное моление. И вдруг неожиданно у креста Елисея новоявленный пустынник осенил себя кукишем!..

Откуда же у него пачпорт взялся? И кто он сам? Беглый ли каторжник или оборотень, нечистый дух? И тут Филарет ахнул: барин получил пачпорт от Ефимии! Не иначе. Но где же взяла Ефимия? Конечно, у дяди Третьяка!

«Умыслили еретики пустить змея ко мне под подушку. Также! Чтоб разброд начался у пустынников, а потом и веру порушить. Ох, собаки грязные!.. Доколе терпеть их? И все это не без помощи ведьмы Ефимии. Хорошо еще, что успел повязать ее. На судном спросе она все скажет, и там – Юсково становище в пепел обратить, рухлядь забрать, а Третьяка и старца Данилу на костылях пытать. Хвально будет так-то. Хвально. И крепость каменной будет. На веки вечные».

Лопарева отправили будто бы на охоту под надежной охраной во главе с Ларивоном и апостолом Павлом в степь, чтоб там учинить ему судный спрос.

Вокруг избы духовника дежурили верижники с ружьями и рогатинами, чтоб никто за триста сажень не приблизился к избе.

Как только стемнело, апостолы обошли все землянки и избышки, оповещая, что святой духовник Филарет наказал старым и малым на восходе солнца сотворить большую молитву во здравие ходоков, уехавших на Енисей. И чтоб никто из парней и белиц не шлялся по общине: батогами бить будут.

У Юсковых наказ Филарета вызвал переполох. Неспроста гонят людей спать и чтобы никто не выходил из изб и землянок. И верижники караулят избу духовника. Что же там происходит? Не иначе – тайный судный спрос!..

Третьяк догадался:

– Чует душа, Ефимию будут пытать.

Старик Данило предупредил: если порешат благостную, то и всем Юсковым несдобровать: Филарет науськает обжорку – не отобьешься.

«Обжоркой» Юсковы навеличивали верижников, особенно Филаретовых апостолов. Никто из них не работает, а жрать – за уши не оттянешь. Только и знают «вершить судные спросы», долбить лбы на всенощных молитвах, а потом спать и жрать от пуза.

Но где же взять силу, чтоб обезоружить верижников? Полсотни мужиков набрать можно, какие осмелятся взяться за рогатины и отринуть Филаретову крепость. Все остальные в огонь пойдут за Филарета.

Юсковы зашевелились – и сон пропал. Собрались в избе Данилы, толковали так и эдак, а ничего не могли придумать. Пойти самим с ружьями к избе Филарета – не перебеешь всех, да и Ефимию не вызволишь из когтей коршуна.

Данило засуетился: то сядет, то встанет, то в оконце выглянет.

– Беда, беда, мужики! Филаретушка лазутчика подсылал, а мы-то, Господи прости, языки распустили. Особливо ты, Третьяк!

Третьяк ухватился за бороду:

– Какого лазутчика?

Данило ехидно проверещал:

– А барин-то? Пустынник-то?

– Дык барин же! Каторжный.

– Хе-хе-хе! Барин! А ведаешь ли, откель у него пачпорт пустынника?

И тут Третьяк признался:

– Тот пачпорт Ефимия дала. У меня хоронила. Во как. И в роше у него была, и сговор поимела. Токмо нишкни! Оборони Бог!

Данило от такой неожиданности чуть не упал.

– Дык, дык как же, а? Пачпорт твой, стал-быть?

Третьяк пояснил, что пачпорт Ефимия получила от Амвросия Лексинского, передала ему на сохранение и вот отдала Лопареву.

– Господи прости! Тогда сила на нашей стороне, – обрадовался Данило. – И Калистратушка не отторгнет нас, и Лопарев. Общинников подбить еще, и Филаретушку свалить можно.

Микула слушал разговоры Третьяка с Данилой, сопел в бороду, а тут не выдержал:

– Эко! Умыслили. На месте Филарета пять Филаретов будет али пятьдесят. Сколь верижников-то? Калистратушка! От такого апостола упаси Бог. От одного взгляда Ларивона или Мокея у Калистрата в штанах мокро. И барин тоже. Один глаз – в Рязань, другой – в Казань. Не примет он ни веры нашей, ни крепости.

– Чуждый, чуждый, – поддакнул Данило.

– А верижник Лука? – напомнил Третьяк.

И в самом деле, есть еще, кроме апостола Калистрата, верижник Лука, тайно проживающий со вдовой Пелагеей. Лука терпеть не может старца Филарета.

Данило пожурил:

– От Луки – ни потрохов ни муки. Солома одна.

Притихли. Задумались.

В избе стало темно, но огня не зажгли. По очереди глядели в оконце.

Послали Семена лазутчиком к избе Филаретовой, и тот вернулся вскоре, сообщил:

– Ефимию пытаются. Голос слышал.

Онемели.

– К избе не мог подползти – верижники залегли: ноги в ноги, голова в голову, и все с ружьями и с рогатинами.

Третьяк схватился за бороду:

– Знать, жди – нагрянут. На сонных, зело борзо. Огнем пожгут, собаки.

Данило схватил подушку и закрыл единственное оконце. Третьяк засветил сальник. Семена послали за своими мужиками.

– Да гляди, чтоб тихо было.

– Ладно! – И Семен ушел.

– Беда, беда, – стонал Данило. – Надо бы послать человека в город, власти призвать на помощь. Казаков али жандармов. Открыть про убийства, какие учинили верижники. Спасение будет.

– Каторга будет, батюшка Данило, – прогудел Микула. – Всем каторга: Филарет никого не помилует.

– И мне будет виселица, – вздохнул Третьяк.

Куда денешься – сами беглые, каторжники! А Третьяк приговорен к смертной казни через повешение еще в 1813 году!..

VIII

Костыли в стене – железные, веревки – пеньковые, не порвешь, и кляп рушником притянут. Сутки кляп во рту. Веревки впились в руки и в ноги, и в грудь.

Пятеро апостолов – Калистрат, Андрей, Тимофей, Ксенофонт, Иона – расселись на судной лавке. Прямо перед ними – Ефимия...

Филарет сидел в переднем углу за столом, под иконами, в торжественном облачении: на голове поморский колпак духовника с восьмиконечным крестом и пурпурным верхом,

на рубахе – золотой крест на цепи, в руке – посох, через левое плечо перекинута широкая лента, шитая золотом, с пурпурными крестами. В таком облачении обычно Филарет спускался в подвалы Выговского монастыря пытать ведьм и еретиков...

Кроме Калистрата, все апостолы носили власяницы и вериги, но в избу вошли без вериг – так положено. Обитель духовника что рай небесный: можно ли в рай тащить вериги, ружья, гири, рогатины, железяки?

Как всегда в подобных случаях, изнутри дверь закрыли на деревянную перекладину в железных скобах: ломись впятером – не согнется, и два маленьких оконца закрыли досками, укрепив перекладиной в скобах.

Воняло лампадным маслом, чадом свечей. У старинных икон горело двенадцать толстых свеч – по числу апостолов Иисуса Христа, именем которого вершился судный спрос и казнь. Кроме стола с глиняными кружками да еще двух лавок возле стен, дощатой лежанки с волосяным матрасом и волосяной подушкой, накрытых дерюгой, в избе старца ничего не было: вся рухлядь хранилась в двух избушках сыновей. Чуть поодаль от двери и от стены чернела железная печка с прямой, как оглобля, трубой, выведенной на крышу. Возле печки лежали березовые дрова, щепки и железная клюшка.

Помолились, пропели псалом во славу Иисуса, испили из кружек святой водицы, окропленной Филаретом, и тогда уже обратили взор на еретичку.

– У, как стришет глазищами-то, ведьма! – начал тшедушный и желчный апостол Андрей.

Филарет повелел вынуть кляп изо рта еретички. Андрей тут же исполнил.

Ефимия не могла сразу закрыть рот – до того растянулись скулы и отерпли за сутки.

Филарет выждал (не первый судный спрос!), когда Ефимия наберет воздух ртом.

– Глаголь, ведьма, пред святыми угодниками, пред образом Спасителя сущую правду, – начал Филарет. – Ежли будешь таить правду, язык вытянем щипцами и тело твое поганое жечь будем. Аминь.

Лицо Ефимии за сутки до того побледнело и обескровело, что выделялось белым пятном на фоне прокоптелых круглых бревен.

«Помоги ему, Богородица Пречистая», – тайно молилась Ефимия во спасение Лопарева. Про себя не думала – смерть сидела перед глазами: шестиглавая, двенадцатиглазая, пятиязыкая, неотвратимая, как рок. Знала, с такого тайного спроса не уходят в жизнь. Только на смерть.

Молила Богородицу за малого сына, за Лопарева – возлюбленного, какого Бог послал на один час жизни. Двадцать пять лет прожила на белом свете и только один час радость любви пережила. Не много же дано Богом человеку!..

– Сказывай пречистым апостолам, какие вершат Господний спрос и суд, какой тайный сговор умыслили еретики Юсковы: Данило, Третьяк, Микула, Михайла и все их становиче. Сказывай.

Если бы могла, Ефимия плюнула бы в лицо Филарету.

– Сказывай! – рыкнул Филарет и стукнул кулаком по столу. – Али запоматовала, еретичка, как совратила святого Амвросия Лексинского? Забыла, как околдовала сына мово Мокея? Еретичка!

– Еретичка, еретичка! – гавкнули апостолы, кроме Калистрата и Ионы.

– Дайте воды, батюшка. – И голос Ефимии потух – гортань пересохла.

– Нету тут, ведьма, еретика, который дал бы те воды испить. Барин твой, щепотник поганый, шесть дней шлялся без воды по степи, а не сдох.

У Ефимии екнуло сердце: Лопарева, возлюбленного, пытать будут!

– Праведник Андрей, растопи печку да накали клюшку.

Андрей кинулся к печке. Дрова уже наложены в печку, только серянку поднеси и засунь клюшку. Что и сделал праведник. Ефимия тяжело вздохнула – пытать будут. Только бы не кри-

чать, не смочить щек паскудными слезами, а все претерпеть без стога и не порадовать мучителей воплем.

– Сказывай, еретичка! – рыкнул старец и подстегнул своих апостолов свирепым взглядом: молчать собрались, что ли?

Тимофей, Ксенофонт и Андрей накинулись на Ефимию, как голодные псы на теплые кости:

– Ведьма, ехидна стоглавая, сказывай!..

– Не зрить неба Юсковым – огнем-пламенем пожжем!

– Пожжем, пожжем!

– Совратительница, тварь ползучая, сказывай!

– Блудница, сиречь ведьма и нечестивка, ехидна и змея стожалая, сказывай! – трясся бесноватый Андрей.

Святой Филарет узрил промах.

– Кара нам, кара! – крикнул он. – Как вы, праведники, не узрили убруса на ведьме? Как правоверка стоит, гли-ко! Аль затмение навела на вас?

Андрей испуганно попятился:

– Свят, свят! Спаси мя, Владыко Небесный! Свят, свят!

Ксенофонт сорвал убрус (платок) с Ефимии, кинул на пол и давай топтать.

– За власы ее, за власы поторкайте! – подсказал Филарет и сам вылез из красного угла, взял свой посох из кипариса с золотым набалдашником и с острием, окованным железом, прямя спину, любовался, как Ксенофонт, Тимофей и Андрей вцепились в волосы Ефимии, готовые оторвать голову. – Также! Также! Благостно, благостно! – радовался Филарет, и в глазах его просветленных играло умиление и блаженство: еретичку изничтожают.

Но нельзя же, чтобы судный спрос закончился в самом начале, не уладив сердца. Надо пытку растянуть на всю ночь, а под утро, как надумал старец, прикончить ведьму: привязать к ногам ее по большому камню, вывезти в лодке на середину Ишима, вниз по течению – от становища верст за семь, и там утопить. «И Господня благодать будет для всех, и радость великая!..»

– Чурку дайте мне. Сесть! – приказал старец.

Апостолы оставили Ефимию и выкатили из-под лежанки березовую чурку. Старец торжественно сел, поправил на голове колпак и легонько ткнул острием посоха Ефимию в живот:

– Не втягивай пузо, ехидна! Али смерти испужалась?

Ефимия облизнула пересохшие губы:

– Сразу бы... убили... батюшка. В сердце, в сердце ударьте посохом!

– Погоди ишшо! Смерть твоя долгая, всенощная али тренощная, как Господь повелит. Ежли скажешь, какую ересь умыслили Юсковы и дядя твой Третьяк, и смерти не будет. Помилую ты и епитимью наложу малую – на месяц, не боле. Потом благословлю, и женой будешь Мокея.

Ефимия вздрогнула. Растрепанные волосы закрывали ей щеки, плечи. На лбу выступил пот. Радовалась: первую пытку перенесла без вопля.

– Лучше смерть, а женой Мокея-мучителя не буду!

Филарет вытаращил глаза. Еле промигался.

– Не хочешь быть женой Мокея?

– Не хочу.

– Эко!

Филарет перекрестился, обрадовался и, обращаясь к апостолам, сказал, чтобы они не забыли: Ефимия отреклась от Мокея. По своей воле, без пытки.

– Благостно, благостно! – И, помолчав, старец спросил: – Али те барин приглянулся?

Ефимия не сразу ответила.

– Сказывай!

– Мокей не муж мне, сами знаете. Не по моей воле взял меня, не по моей воле держал меня.

– Также.

– В Писании сказано: Господь создал Еву из ребра Адамова и она стала его женой. Так и всякая жена – из ребра мужа своего. Разве из Мокеева ребра Господь создал меня?

Филарет подпрыгнул на чурке:

– Еретичка ты! Ишь что умыслила. Чтоб из Мокеева ребра да экая блудница вышла! Еретичка! – И ткнул посохом Ефимию в плечо.

Ефимия ойкнула, закусила губы. На кофте появилась кровь.

– Зрите, зрите, апостолы! Кровь-то у ведьмы черная.

На холостяной коричневой кофте да при свете свечей увидеть красную кровь было бы мудрено, но апостолы обрадовались: у ведьмы черная кровь – суд праведный.

– Сорвите с ведьмы хламье, чтоб поганое тело на суд вышло!

Расторопный Ксенофонт с бесноватым Андреем и безъязыким глухим Ионой накинулись, как черные коршуны, на Ефимию и рвали одежду руками.

– Также. Также, – умилялся Филарет, стучая в земляной пол посохом.

Наконец сорвана исподняя рубашка, и Ефимия предстала нагая. Веревки впились в ее тело, но она не чувствовала боли.

– Не стыдно вам, старцы? – Глаза Ефимии округлились и дико уставились в лицо Филарета, наливаясь смертельной ненавистью. – Вы не праведники, а собаки нечистые! Собаки! Собаки грязные, кровожадные! – Ефимия плюнула Филарету в лицо, тот подпрыгнул и ударил посохом, но промахнулся: железный наконечник посоха увяз в бревне возле шеи Ефимии. Чуть-чуть, и Ефимия отмучилась бы.

– Кляп, кляп заткните! – рыкнул Филарет, вытаскивая посох.

Апостолы подхватили с полу рванье и, как Ефимия не увертывалась, выкрикивая, что Филарет сатана, искуситель, дьявол нечистый, заткнули рот.

По телу Ефимии от плеча текла кровь.

Опьяненный зрелищем пытки, Филарет не обратил внимания на апостола Калистрата, которому вчера пообещал посох и крест золотой.

IX

Калистрат ни единым словом не очернил Ефимию. Ни вчера, ни сегодня. Похожий на патриарха Никона, с черной окладистой бородой в проседь, лобастый, вкусивший сладость престольных угощений в академии, одетый во власяницу из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах, он лихорадочно думал, как бы ему самому избавиться от казни и пытки и в то же время завладеть посохом и золотым четырехфунтовым крестом Филарета. Без креста и посоха не жить ему – убьют. По первому знаку старца – каюк. Бежать разве? Если бы он знал, что угодит в ловушку! Грешен, подбивал пустынников, тайно сговаривался с Юсковыми, и вот кто-то предал. Кто же? Не Юсковы же! Лука разве? Верижник паскудный! Не должно. Кто же?

«Погибель будет мне, погибель! – стонал Калистрат, глядя на Ефимию. – Также пытать будет сатано. Елисею выжгли дырку до ребер, и он на кресте муки принял, а меня, должно, щипцами терзать будут и на общину выставят. И за академию пытать будут, и за щепоть, какой тогда молился, и за сговор с Юсковыми!»

Да, Филарет кое-что проведал про сговор Калистрата с Юсковыми, но не от верижников, а от сына Ларивонова – безусого Луки, которого тайно засылал лазутчиком к Юсковым. Внук Лука трижды подглядел, как под прикрытием дождя и грозы крался к Юсковым Калистрат и еще кто-то с ним и прятались в избе Третьяка. Туда же наведывалась Ефимия. Однажды Лука

усмотрел, как в избе у Третьяка собрались трое верижников. Калистрат с ними и Ефимия. Сговор велся среди ночи в темной избе. Лука узнал по голосам четырех: Ефимию, Третьяка, Калистрата и Микулу. Говорили, как бы спихнуть Филарета, отобрать посох и отпустить подпруги, чтоб не задышался народ под игом Филарета-мучителя.

Внук Лука – не свидетель: борода не выросла! Его нельзя выставить перед общиной и свершить потом казнь еретиков Юсковых.

Где же взять свидетеля? Ефимию пытаться надо. Баба не выдержит, признается, назовет в первую очередь Калистрата – и тогда каюк еретикам!

Филарет давно косился на Калистрата, хоть тот и хорошо читал Писание, и голос у него как у соборного протодиакона, и статность внушительна, и умом Бог не обидел. И в то же время именно за эти достоинства Филарет терпеть не мог Калистрата. И вдруг открылось, что Калистрат в тайном сговоре с Юсковыми!..

Елисей дурак был, чурошник. Надоед всем своими знаменами и бесноватостью – общину чуть не распугал. И так более двухсот общинников убежали от Филарета на Волге. Дай волю – все разбегутся, кроме каторжных. С кем тогда крепость держать? Вот и убрал дурака.

Калистрат – еретик умнящий. Такого пытаться надо сто раз смертью и жизнью. Чтоб обмирал и оживал.

«Погибель будет! – таращил глаза на Ефимию Калистрат, вытирая рукавом рубахи пот с лица. – Кабы Юсковых призвать, да силы мало у них!..»

Не до Ефимии Калистрату. Глядит на казнь, как самого себя видит. Хватит ли у него природы, как вот у Ефимии, что и вопля еще не исторгла?..

Х

...Лопареву завернули руки за спину и стянули веревками, а потом опеленали тело до пояса. И все это молча, без единого слова.

Апостол Павел поторапливал: вяжите, вяжите!

– Хорошо ли скрутили барина?

– Скрутили! – поднялся Ларивон. – Пусть Сатано призовет, чтоб развязал нашу повязку.

– Благостно.

Лопарев онемел от неожиданного наскока бородачей. С чего такая напасть? Ведь только утром старец Филарет разговаривал с ним и клялся, что возлюбил его, «яко сына родного»!

Вспомнил о пачпорте пустытника. Не выручит ли?

– Вы што делаете, рабы Божьи? Как вы удумали связать пустытника с пачпортом? Или не были на всенощном моленье?

– Го-го-го! – заржал гигант Ларивон. – Вот баит, вот баит! Ишь, пустынником заделался. Ты еще скажешь нам, барин, щепотник поганый, откель получил пачпорт праведника. Сказывай!

– С березы снял. С березы.

Апостол Павел пнул Лопарева в лицо, аж в глазах потемнело. Угодил в губы мокроступом. Лопарев задохнулся от злобы. Грязным мокроступом – да в лицо! Такого с ним не вытворили в казарме Петропавловской крепости.

Попытался вскочить, но двое навалились на него, да еще Ларивон помог, и давай садить барину. Били, били да приговаривали: «За барскую кровь твою, за омман, за омман! Паче того, за пачпорт, за пачпорт. Также. Также».

– А-а-а, дьяволы! Космачи! Чтоб вам сдохнуть! Сволочи сивобородые! – крикнул Лопарев.

А праведники бородатые избивали до тех пор, пока у барина не помутился в голове весь свет – черное слилось с белым и образовалось оранжевое, огненное. Кровь текла из губ, из носа, подбитый глаз затек, и в ребрах будто что-то хрустнуло.

Праведники присели передохнуть.

Лопарев долго лежал на спине, еле переводя дух. Небо кружилось над ним, как шатер над каруселью. В голове гудело. Потом он повернулся и опять увидел небо у горизонта. Плыли тучи, рваные, черные, как серые овчины. Ленивые, бесформенные, как вот эти бородатые праведники.

– С-со-о-ба-а-а-ки! З-за-а ч-что вы... меня, а-а-а?

Апостол Павел лениво предупредил:

– Молчай, щепотник. Ишшо не то будет во славу Господа Бога нашего. Аминь.

У Лопарева закипели слезы. Чуть не разревелся. Пересиливая боль в ребрах и в паху, еще раз спросил:

– За што вы меня? За што?! Я же... я же... в кандалах приполз... под знаменiem...

– Молчай, пес грязный! – пхнул мокроступом Ларивон. Метил в губы, а угадал в лоб. – Будет тебе ишшо знамение, погоди маленько. Совращать праведников объявился. Юда окаянный. Под поповскую церковь подвести хотел, кровопивец.

– Я-я ничью кровь не пил, космач! Собака!

И еще пинок. Лопарев успел отвести голову. Ларивон лениво подполз к барину и давай пинать его куда попало.

Напинался, предупредил:

– Погоди, щепотник. Мы еще ребра ломать будем. Благостно будет то. Благостно. Хрустеть будут. Ты нам признаешься, как совратить задумал всю общину с Юсковыми и с ведьмой Ефимией. На посох духовника глаза разинул, тать болотная. Чего умыслил! Посохом завладеть.

– Не нужен мне посох! Не нужен!

– Зачем тогда пачпорт пустытника принял от ведьмы? Сказывай!

Так вот в чем дело! За Ефимией, наверное, следили. Кто-то подглядел, как она повесила на березе в тряпице тот паршивый пачпорт!.. Что же сейчас с Ефимией? Где она?

«Пусть они сожрут этот проклятый пачпорт», – кипел Лопарев, задыхаясь от злобы и бессилия.

– Возьмите свой пачпорт, и я уйду от вас! Не имеете права держать меня, слышите? Я государственный преступник, слышите? Не праведник, не пустытник, а государственный преступник.

Апостол Павел заржал:

– Ишь как барина повело, праведники. И посоха не захотел, щепотник. Возопил, кобелина!

Лопарев корчился, мотался головой по траве, изнемогая от ярости. Если бы не путы да пашку в руки, рубил бы он этих космачей до светопреставления!

– Эй, вы! Как вас, не знаю. Кто вы, какая ваша вера, не хочу знать, слышите! К черту вашу веру вместе с вашим стариком и с его посохом. К черту!

Ларивон опять начал пинать, приговаривая: «Не паскудь праведников, не паскудь! Сиречь духовника благостного, батюшку Филарета! Не паскудь, не паскудь».

Лопарев стонал, ругался, грыз зубами землю.

Праведники покатывались:

– Как вопиет-то! Как вопиет-то барин чистенький.

– С-со-о-ба-а-а-ки. К-ко-с-с-ма-ч-чи.

– Мы те покажем собак, погоди!

– Отведите меня в деревню, слышите? Сдайте старосте или кому там, чтоб в тюрьму отправили. В тюрьму. На каторгу. Слышите? Пустите меня на каторгу.

– Ха-ха-ха!.. Как вопиет-то! В тюрьму захотел, кобелина. На каторгу захотел. Ишь как отрыгнул нашу праведную веру, а? Ишшо объявился пустынником.

– Не пустынник я. Не пустынник.

Апостол Павел торжествовал:

– Слышите, праведники? Отрекся, иуда.

– Я не называл себя пустынником. Не называл. Я снял тот пачпорт с березы, рваные те бумажки. И вы сами вопили: чудо, чудо! А чуда не было. И кобылицу с жеребенком сам Филарет объявил чудом. Не я же! Что вы меня терзаете? За что? Отведите меня в деревню, говорю, и сдайте власти. Пусть на каторгу отправит.

– Ишь как шибко захотел на каторгу, – надрывали животы Иисусовы праведники. – От веры-то нашей, от Христа Спасителя да на каторгу захотел. Сказано: щепотник поганый. Тако есть.

Лопарев кричал и умолял, чтоб отвели его в любую деревню, хоть бы вытолкали на тракт и сдали кому угодно как беглого каторжника, но праведники потешались: вопи, барин.

Апостол Павел наказал:

– Барина-то покрепше завязать надо. И ноги скрутить, штоб не встал, не сел.

– За что?! За что?! По какому праву, спрашиваю?!

Апостол Павел ответил:

– Еретика, сиречь того – щепотника, огнем жечь можем. А право у нас и власть от Царя Всевышнего и от Сына Божьего Иисуса. Во какое право. Как Бог повелел изничтожать еретиков, так и дело вершим. Аминь. Лежи, барин, тихо. Утре покажешь нам, на каком месте Бог послал тебе кобылицу с жеребенком.

– Да что я там памятник поставил, что ли? – огрызнулся Лопарев. – Откуда я знаю, где она появилась?

– Ежели не укажешь место, лупить будем. Ребра ломать будем.

– О! – простонал Лопарев.

Вот так крепость Филаретова! Вот так многомилостивый батюшка Филарет! Вот так умильная любовь отца к сыну!

И вдруг вспомнил.

«Не за то ли мстит Филарет, что отца его будто бы насмерть прибил мой дед? Да было ли то?»

И проклял вековечную барщину и крепостную неволю. За что же он должен страдать, внук крепостника-полковника? Да когда же настанет на святой Руси конец несносной тирании? Или так на веки вечные: холопы – под барином, барин – под царем, царь – под Богом? И деться от этой неволи некуда!

XI

– Вопи, вопи, ведьма! – рычал Филарет.

Но как вопить ведьме, коль кляп во рту?

– Вопи, вопи, змеища стохвостая, – поддакивал апостол Андрей.

Калистрат невольно залюбовался телом Ефимии. Какая же она дивная красавица. И тут же прикусил язык: вдруг про тайную мысль проведают духовник? «Свят, свят, спаси мя», – открестился Калистрат, уставясь на железную печку.

В избе и без того жарко, душно, а тут еще печка гудит.

Апостолы терпят. Привычно. За Господа Бога какую муку не примешь, только бы душеньку определить в рай небесный.

– Таперича слушай, ехидна, – поднялся Филарет и стукнул посохом – ком земли вывернул. – Ежели погаными устами будешь порочить духовника али моих пресвятых апостолов,

вырвем язык щипцами, а потом жечи будем. Реченье поганое не вежи, отвечай на судный спрос. Вынь кляп, праведник Ксенофонт. Да гляди, змеища!

Ксенофонт вынул кляп и брезгливо бросил под голые ноги Ефимии.

Ефимия вздохнула во всю грудь. Глаза как в туман укутаны – видит и не видит праведников Иисусовых.

– Сказывай, какой сговор был в избе у Третьяка на третьей неделе опосля Пасхи?

– Не ведаю, батюшка.

– Врешь, тварь ползучая. На том сговоре ты была и все знаешь. Глаголь, кто был на сговоре! Третьяк, Микула, Данило шелудивый, а еще кто?

У Калистрата от таких вопросов – в горле лед и сердце заглохло. «Спаси мя, Иисусе Христе, – молился он. – Обет наложу на себя: от гордыни отрекись, от блуда, к церкви православной возвернусь, Господи».

Филарет готов был пронзить Ефимию посохом, но сдержался. Если Ефимия не признается, беда будет. Не вырвешь язык самому Калистрату.

– Сказывай, Ефимия. Молю тебя, сказывай! – Голос Филарета дрогнул. – Ты не мужчина, не пустынножница, вины твоей нету в том сговоре. Пред Спасителем боюсь: благодать будет. И ты станешь жить. Хошь, из общины уходи. Хошь, сама по себе живи. Воля твоя будет. Помоги мне крепость утвердить сю, и дам те спасение. Тако ли, апостолы?

Апостолы, кроме Калистрата и Ионы, гаркнули:

– Спасена будет, грех простится.

– Слышь, Ефимия?

– Слышу, – тихо ответила Ефимия и встретилась с глазами апостола Калистрата. Вот он, апостол блудливый и хитрый, виляющий хвостом на две стороны – и нам, и вам, но какой же он трусливый пес! Что он так остолбенело уставился на нее? Молит, чтоб жизнью своей спасла его жизнь. «Богородица Пречистая, помоги мне!» Назвать или умолчать? Если назвать – не жить всем Юсковым. Не жить хитрому и хозяйственному дяде Третьяку, кутузовскому солдату, заговорщику, с кем делилась втайне и горем и радостью. Назвать – утвердить Филаретову крепость. Крепость мучителя. Тяжкую, свирепую, без единого просвета радости.

– Еще один был сговор – главный, – напомнил Филарет. – Опосля того как Акулину-блудницу на тайном спросе пытали, а потом посадили в яму; у Третьяка в избе, ночью, в дождь, собрались еретики: Микула, Третьяк, Михайла, и ты была там. Окромья того, три верижника и апостол с ними. Тот апостол сказал: «Вырвем у Филарета крест золотой и чресельник отберем. Хозяйством править будешь ты, Третьяк, а я буду духовником». Назови, который апостол! Жить будешь. Аминь.

– Аминь. Аминь, – откликнулись перепуганные апостолы.

Тимофея и Ксенофонта била лихорадка. А вдруг Ефимия назовет кого-нибудь из них?

Калистрат вынул черные цыганские глаза, а зубы унять не мог – стучали. По спине – холод, а по лицу – дождь. С бровей, с бороды соль капает.

Настала тягостная, жуткая минута.

Апостолы примолкли на судной лавке, а глазами так и впились в Ефимию? Знали: баба не сдюжит пытки и кого-то из них назовет. Тогда на костылях повиснет кто-то из апостолов. Кто же? Кто?

И сам Филарет волновался. Другого судного спроса не свершить, если Ефимия не назовет апостола. Чего доброго, Калистратушке, упитанному борову, доведется носить крест золотой! Тот самый крест, у которого на коленях стояли сам осударь Петр Федорович, Хлопуша, Кривой Глаз и Прасковеюшка покойная!..

«Иисусе Христе, развяжи язык твари ползучей, – молился Филарет. – Сгинет крепость Твоя, Господи, если останется в живых иуда Калистрат».

Филарет еще раз напомнил:

– На том сговоре апостол-еретик сказал: «Филарета убить надо, и Ларивона убить, и Мокея также». Третьяк и Микула также глаголали: убить. И тут раздался твой голос: «Филарета убивать не надо, и Ларивона, и Мокея убивать не надо. Потому – смертью смерть не правят. Надо порушить крепость, а Филарет пусть живет и помрет своей смертью». Глаголала так али нет?

Тишина. Слышно, как пощелкивают дрова в печке и как тяжело сопят взмокшие апостолы. Голос Ефимии прозвучал, как гроза с чистого неба:

– Говорила так.

У Калистратушки будто оборвалось сердце, и он едва не потерял сознание.

– Слава Иисусе Христе! – воспрял Филарет: Ефимия разомкнула уста.

– Говорила так, – повторила Ефимия. – Потому: крепость твоя чуждая, не Божеская, а сатанинская. От гордыни то, от злого сердца то, а не от Бога. Господь не заповедовал терзать людей – жечь огнем, рвать тело железом. Господь заповедовал милосердие и любовь. Где оно, милосердие? Нету. Крепость одна лютая. От такой крепости дух каменеет.

– Молчи, тварь! – подскочил Филарет и ударил тупым концом посоха Ефимию по голове. – Крепость наша на веки вечные, ехидна. Не разумеешь то: Сатано кругом рыщет, погибели нашей ищет. Не будет крепости старой веры – сгинем, яко твари ползучие. Али не говорил Спаситель: «Если рука или нога твоя соблазняет тя – отсеки и брось. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем с двумя – в геенну огненную».

– Также! – откликнулись апостолы.

Ефимия не удержалась, напомнила:

– «И любите врагов наших; благословляйте проклинающих вас!»

– Тварь, тварь! Писание толкуешь, а ересь хвостом покрываешь. Али не говорил апостол Петр: «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью, терзайте плоть свою и спасены будете». Али не говорил Спаситель: «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»?

– Не принимаю то, батюшка. Не принимаю. В Писании апостолов блуда много, скверны много.

Филарет испуганно попятился: еретичка!

– Замкни уши мои, Иисусе Христе, чтоб не слышать скверны еретички. Господи!

– Ведьма, ведьма! – трясся Ксенофонт.

Филарет перевел дух, выпил кружку воды и опять приступил к Ефимии:

– Глагол твой, паскудница, в землю ушел. Праведников с веры не совратишь! Не богохульствуй боле. Оглаголь апостола, и я повелю, чтоб развязали тебя.

Ефимия молчала. Назвать апостола – укрепить крепость Филарета. Крепость мучителя. Пусть не она, другие будут мучиться.

– Не оглаголю, батюшка. Крепость твою отринула. Людей жалею, каких ты мучаешь.

– Праведник Андрей, сунь клюшкой в титьку!

Андрей схватился было за железную рукоятку клюшки и тут же одернул руку – обжегся. Прихватил тряпку и вынул раскаленную клюшку из печки.

– Матерь Божья, спаси мя! – успела крикнуть Ефимия, как праведник Андрей сунул клюшкой в грудь...

Тело Ефимии передернулось, вырвался тяжкий стон, и голова свесилась к плечу – сознания лишилась.

– Вопи, вопи, ведьма! – прицыкнул Филарет. Он терпеть не мог, когда пытаемый не вопил бы во всю глотку, не извивался бы, как веревка, кинутая на быстрое течение воды. – Вопи, вопи, ехидна! Андрей, плесни воды в лицо.

От кружки холодной воды Ефимия очнулась.

– Батюшка... батюшка... – прерывисто заговорила она. – Твой сын... Мокей... муж мой... пять годов...

– Не муж, не муж! Опеленала ты его, ведьма, сатанинскими чарами, да и в искус ввела. Грех свой Мокей искупит, Бог даст. Покаяньем, раденьем.

– Искупит, искупит! – отозвались Ксенофонт, Тимофей и Андрей.

Калистрат по-прежнему молчал.

– Оглаголь апостола, ехидна! – требовал Филарет. – На судное моление выставим. Оглаголь!

Ефимия глубоко вздохнула:

– Не будет того, не будет! Судные моления – сатанинский вертеп, не Божеский. И ты... ты – сатано!

– Жги ее, жги, Андрей.

Клюшка прильнула ко второй груди Ефимии...

– Вопи, вопи!..

– Сатано ты, сатано! Сынок у меня... Веденей... Я его народила. Я ему все поведала про твою любовь, сатано!.. Как вырастет, проклянет кости твои сатанинские!.. Не будет тебе спасения и на том свете!.. Черви тебя будут точить!.. Проклинать тебя будут живые и мертвые!.. Сатано-о-о! Веденейка, сынок мой, прокляни его до седьмого колена!..

Филарет подскочил на чурке, сел, опять вскочил и посох выронил из рук. Сам о том не раздумал! Изничтожишь еретичку, а Змей Горыныч под боком силу наберет, а потом ядовитое жало пустит в крепость старой веры.

Мысли ворочались злые, беспощадные, жесточайшие.

– Праведники! – Филарет глянул на апостолов. – Али не слышите вопль ведьмы? Змеищу изничтожим, сиречь еретичку, а змей подрастать будет, когти точить будет. Каково житие будет для всех праведников? Помните, как змееныши Кондратия плевались на судном спросе! Пожгли тех змеенышей. Каково – змей вырастет? Каково?!

– Погибель, погибель будет!

– Сказывайте волю Иусову. – Филарет поднял крест.

Ксенофонт поцеловал крест.

– Удушить змееныша, покуда не вырос змей.

– Иус глаголет твоими устами, благодный Ксенофонт, – помолился Филарет. – Ступай ты, Тимофей, и... – Филарет запнулся, обвел взглядом апостолов и остановился на пунцовом, потном лице Калистрата. – И ты, Калистратушка. Несите парнишку ведьмы. Да тихо штоб. Марфу Ларивонову со чадами не пугайте. Тихо штоб. Благодью чадо возьмите. У избы моей чадо крепше повяжите и уста такоже, чтоб не испускал вопля. Пусть душа чада в рай Господний уйдет без вопля, а не в геенну со еретичкой. Аминь.

Ефимия слушала и плохо соображала. Рассудок будто отшибло. Наконец дошло до ее сознания:

– Ба-а-тюща-а-а!.. Сыно-о-очка-а-а... помилуйте!..

Филарет обрадовался:

– Вопль, вопль исторгся! Слышите, праведники, как Сатано из чрева еретички возопил? Жутко ему, Сатане, в теле нечестивки. Ужо не так возопит. Не так!

Калистрат вынул перекладину из скоб, открыл дверь и первым вышел через маленькие сенцы на улицу. Хватанул воздуха как манны небесной. В ушах звенело, будто пели купеческие колокольцы на Невском проспекте.

Первая мысль – бежать, бежать к Юсковым. Поднять посконников да накинуться на верижников. И тут же опомнился: у верижников, охраняющих храм Филаретов, сорок ружей! Не одолеть такую ораву. Может, удастся бежать из общины? Куда? Хоть на край света.

На покаяние в православную церковь! Хоть к черту на рога, только бы не испытывать раскаленной клюшки!..

Марфа Ларивонова не спала. Стояла на коленях перед иконами и молилась, отбивая поклоны.

На широченной лежанке из досок почивали меньшие сыновья Ларивона. Одному – тринадцатый миновал, другому – седьмой. Пятилетний Веденейка, курчавый, синеглазый, стоял на коленях возле Марфы и до того умирался на молитве, что крест накладывал от подбородка до живота.

Апостол Тимофей ласково обратился к Веденейке:

– Батюшка Филарет зовет тя, чадо. Подем. Подем.

Марфа глянула на апостола, догадалась, вскрикнула и как сноп упала лицом в земляной пол.

Веденейка заревел...

Калистрат схватился за ведро на дощатом столе и тут заметил нож. Поморский нож Ларивона с острым лезвием, чуть гнутый, как шашка. Дрожащей рукою схватил нож и сунул под подол рубахи, под ремень, а тогда уже зачерпнул ковшиком воды, выпил ее в три глотка, опять зачерпнул и вылил на голову Марфы.

Апостол Тимофей возился с Веденейкой.

Проснулись дети Ларивона и – в голос. Марфа тоже ревет. Где уж тут вязать парнишку!

ХП

В сенцах Тимофей спохватился:

– Чем повязать-то чадо, не взяли? Дай твой чресельник.

У Калистрата под ремнем-чресельником – нож...

– Тако неси! – И распахнул дверь. Ударило жаром и запахом подгорелого мяса.

На грудях и на животе Ефимии углились отметины от клюшки.

Филарет не глянул на внука – нельзя показать робость и жалость, когда вершишь волю Господа Бога.

– Чадо – на лежанку! Подушкой, подушкой! Живо! Ксенофонт, помоги Тимофею.

Ефимия напряглась всем телом. Тянулась к сыну. Крепкие костыли в стене. И пеньковые веревки не порвать.

Заревела в голос...

– Также! Также! Сатано дух испускает, – хрипел Филарет.

– Веденейка! Сыночек мой! Веденейка!

– Похвалялась: змееныша оставишь в общине? Зри, зри, ведьма!.. Душа Веденейки возрадуется на Небеси, на Небеси, не в преисподней!..

Ефимия в третий раз лишилась сознания...

Филарет выждал, покуда удушили Веденейку, а тогда уже затянул поминальный псалом.

Ефимия не очнулась.

Филарет пристально воззрится на Калистрата.

– А ведь ты, Калистратушка, ведьму и словом не чернил будто?

У Калистрата задержалась верхняя губа и усы задвигались, как у тюленя.

– Подойди ко мне, Калистратушка. Праведники умучились, а ты отдыхал. Богу, поди, молился. Праведной ладонью, не кукишем. Академию духовну одолел – вера у те превеликая. Куда мне из холопией упряжи. Потому и посох отдам тебе, и крест золотой. Духовником будешь, Калистратушка. Скоро будешь. Может, нынешним утром, а? Вот сейчас позовем верижника Луку, блудливца бабьего, спрос учиним еретику, а там и благодать будет.

У Калистрата от испуга судорогой свело правую ногу, и он невольно покособочился. Призовут верижника Луку! «Лука-то не сдюжит пытки, погибель мне!» – не успел подумать, как Филарет подстегнул:

– Что ногой дрыгаешь?

– Судорога, батюшка.

– Минует, минует судорога. Вот верижника спросим, и ты сам духовником станешь, – ехидствовал Филарет, отчаявшись на последнее: пытать верижника. Было бы куда лучше, если бы Ефимия оглаголала апостола да на судном моленье подтвердила! Не вышло того.

– Лука-то... верижник... под пачпортом ходит, – напомнил Калистрат.

Филарет знал: верижника с пачпортом на судный спрос вызывать можно только в том случае, если апостолы точно знают, что он еретик.

Апостолы молчали.

– Знаменье было мне, праведники. Али не зрили, как затаилась ведьма на спросе? Отчего, думаете? Еретик меж нами. Как Иуда между апостолами Спасителя. Лука про то сам скажет. Тако будет.

Откуда-то издалека донеслось пение петухов...

– Праведник Андрей, сунь клюшкой в непотребное пузо ведьмы, чтоб в память пришла.

– Клюшка остыла, батюшка.

– Ударь клюшкой, ударь!

Андрей исполнил волю старца.

Ефимия очнулась от ударов, закричала дико и страшно, уставившись на апостолов-убийц.

– Слышишь, Калистратушка? Нечистый вопит. Благостно ли тебе от вопля нечистого? Али у те язык отнялся? Ведьма! Гляди: праведник Калистрат проткнет тебе чрево. Проткнет. Гляди, гляди на апостола!.. На посох, праведник Калистратушка, сверши волю Господню. Да наперед глаза выткни ведьме, чтоб нечистый чрез глаза не зрил свой смертный час и порчу бы не навел на пастырский посох. На, на, на!.. А вы, святые праведники, сядьте на лавку, отдохните.

Апостолы рады были перевести дух.

– На посох, на! Чо узрился на меня?!

И тут случилось то, чего никто ожидать не мог, и вместе с тем неизбежное.

Калистрат не взял, а вырвал посох из рук Филарета и, отскочив на два шага, неистово крикнул:

– Сатано! Сатано зрю! Рога зрю! – И не успел Филарет опомниться, как Калистрат изо всей силы ударил его по голове, да еще раз – и посох переломился надвое. Старец опрокинулся наземь, как поганое ведро. Апостолы повскакивали с лавки, но Калистрат вдруг выхватил нож из-под рубахи и гаркнул:

– На колени, собаки! На колени!

Апостолы-собаки попадали на колени...

Безъязыкого Иону хватил удар – сдох в секунду...

– В духовника бес вселился, али не зрили? – подступил к апостолам Калистрат, вооруженный ножом и половинкой посоха. – Видели рога, сказывайте? Видели, как я сбил рога?! Или смерть вам, как нечестивцам!

Первым опомнился праведник Ксенофонт – душитель Веденейки:

– Зрил рога, батюшка Калистрат! Зрил, зрил. На лбу Филарета. Явственно.

– А ты, Тимофей?

– Зрил, зрил, батюшка Калистрат.

– А ты, Андрей?

– Зрил, зрил. Проступили рога-то, проступили. Таперича ты, батюшка Калистрат, отец наш духовный, нетленный, благодный. Спаси нас от гибели!

Калистрат того и ждал: отныне он отец духовный, благодный и нетленный.

– Сыми крест золотой с нечестивца, праведник Андрей, мудрый и благодный апостол. Иль помрачнеет крест на шее нечестивца, и всем пропадать тогда.

– Иисусе Христе, спаси нас! – молились апостолы.

Калистрат предусмотрительно отступил на шаг в сторону Ефимии.

Андрей на коленях подполз к Филарету и трясущимися руками взялся за литую золотую цепь, чтоб снять крест. Филарет очнулся и схватил апостола за руки.

– Батюшка Калистрат! Помоги! А-а-а!

– Апостолы, вяжите нечестивца Филарета! Живо, живо! – И опять нож Калистрата угрожающе поднялся над головой.

Трое апостолов навалились на Филарета и содрали с шеи крест. Филарет изрыгал проклятия. Грозился геенной огненной. Апостолы моментально заткнули ему рот тряпками, содранными с Ефимии. Потом развязали Ефимию и теми же веревками стянули «отца вечного и нетленного», хоть он и отчаянно сопротивлялся. Ефимия упала и поползла возле стены к лежанке Филарета, где под подушками покоилось тело умерщвленного Веденейки. Схватила сына на руки, прижала к своей прожженной груди и ревела в голос.

Калистрату и апостолам – не до Ефимии.

Из пораненной головы Филарета текла кровь...

– Зрите, апостолы, зрите! Кровь-то черная! – подсказал Калистрат, и апостолы в один голос подтвердили, что у нечестивца Филарета кровь чернее смолы.

– Одолеет Сатано старца! Одолеет, – наступал Калистрат, покуда апостолы не пришли в память да не кинулись в двери, чтоб призвать на помощь свирепых верижников.

Надо спешить!

– Кто повелел удушить апостола Митрофана?

– Сатано, сатано повелел! Филарет окаянный, – ответил Тимофей, самый близкий пустынный Филарета, и он же душитель Митрофана.

– Возомнил себя Иисусом. Тако ли было?

– Так! Так, батюшка Калистрат!

– Кто погубил праведника Елисея? Кто повелел жечь ему брюхо, а потом на крест повязать? Сказывайте.

– Филарет погубил. Нечестивец поганый! – старался апостол Ксенофонт, душитель Веденейки. – Чрез свою гордыню, паки чрез нечистого!

– Тако, Ксенофонт. Тако!

Апостолы, в отличие от Ефимии, оказались на редкость сговорчивыми и податливыми, что воск в теплых руках.

Андрей держал золотой крест обеими руками, не зная, что с ним делать: положить ли на стол или повесить на шею Калистрата.

– Спаси нас, батюшка Калистрат, – взмолился богоугодный Ксенофонт, отвешивая поклоны. – Спаси нас! Отринь от нечестивца, сиречь зверя лютого. Ты наш духовник! Припадаю к твоим стопам, яко праведным. Воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, батюшке Калистрату.

На коленях воспели аллилуйю, не забыв проклясть искушителя Филарета, погрязшего в лютости.

– Еще скажу, – подступил к апостолам Калистрат, – не будет нам спасения, коль не отберем ружья и рогатины от верижников. От них вся лютость. На них стояла крепость душителя. Тако ли?

– Так, батюшка Калистрат. Так!

– Ты, Ксенофонт, реченье будешь вести с верижниками, и благодать будет тебе. Ружья и рогатины – не вериги. Потому: Филарет повелел взять ружья пустынным в Поморье не от доброхотства, а от соблазна гордыни, какая обуяла старца. Не оттого ли, братия, Филипп наш строжайший со общиною праведников огнем пожгли себя? Не оттого ли Митрофана удушили? Не оттого ли старец напустил на нас туман и мы не зрили Неба, Иисуса, Господа Бога, а пребывали в забвении, в лютости?

– Все, все от старца Филарета. И пусть он будет проклят.

– Удушить иуду! – проверещал апостол Тимофей, и даже сам Калистрат перепугался. Легко сказать – удушить Филарета, старейшего духовника Церковного собора! «Смуте быть тогда, и мне, должно, беда будет. Али ножом пырнут верижники, али мешок на голову накинута». И кстати вспомнил слова Ефимии: «Смертью смерть не правят».

Калистрат откинул обломок кипарисового посоха, засунул нож за пояс, спросил:

– Духовник ли я ваш, праведники?

– Духовник, духовник!

– Тогда клянись спасением своим, Иисусом многомилостивым, что будем вы и я – одна душа!.. Сатано мог погубить всех, да я посохом сбил рога с головы нечестивца. Еще скажу: лютый зверь хотел погубить благодетельную Ефимию, которую почитает вся община. Не еретичка она – праведница!

– Праведница, праведница!

– Жить ей веки вечные.

– Жить, жить, жить! – орали мучители Ефимии.

Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им – убийцам Веденейки! Не Калистрат ли с Тимофеем принесли Веденейку из избы Ларивона?

Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой? И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею четырехфунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого Господа Бога!

Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь.

Ефимия заливалась слезами над телом Веденейки, не чувствуя ни боли пожженного тела, ни раны от посоха на плече. Поторкали Иону – не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видано ли: самого духовника...

Ссохшееся от постов и радений тело Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи: Иона никогда не мылся, такую наложил на себя епитимью, – и вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Преставился апостол!..

Калистрат вспомнил и про Лопарева:

– Кандальник спасения искал у нас, а где он теперь? В степь повели пытать? Виданное ли святотатство, братия?

– Озверел, озверел сатано! – отзывались апостолы.

Заручившись поддержкою апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников – бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый Ксенофонт подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моление к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы духовника. И там, на моление возле часовни, объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух и что апостол Калистрат узрел, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца-еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню и святотатство и за убийство апостолов-праведников.

Перед иконами верижники не устояли – попадали на колени...

Ксенофонт позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника.

Калистрат не вышел с крестом; спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников: блудливого Луку, Никиту и Гаврилу. Они и остались возле ружей и рогатин, а с ними – Калистрат.

Ксенофонт, Тимофей и Андрей с верижниками, распевая псалмы, подались к часовне...

Верижник Лука рысью побежал за Юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат свергнуть душителя Филарета.

Возле чернеющих избушек и землянок в разноголосье запели петухи. Вторые...

У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников, или те кинутся выручать Филарета?

«Благослови, Господи, лютую крепость рушу, – молился Калистрат. – Вразуми мя, Спаситель, как вершить волю Твою! Не бежать ли, пока не поздно? В Тобольск, в Ишим ли. Везде можно найти пристанище».

И убежал бы, если бы не подоспели четверо Юсковых: Третьяк, Микула, Михайло, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позабыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников.

– Зело борзо! Супротив верижников, дармоедов, вся община подыметя, Калистратушка! Вот они, ружья-то!.. Наша сила теперь, славу Богу!..

Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест: глядите, мол, духовник перед вами.

Третьяк размашисто перекрестился:

– Слава те Господи, свершилась воля Твоя! Повергнут иуду-мучителя. Возрадуемся!

Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить дармоедов-верижников да замирать от одного их взгляда!..

На улицу выбежала Ефимия с телом Веденейки на руках. Голая!.. Калистрат успел схватить ее, но она вырывалась.

– Ефимия! Благостная! Куда же ты бежишь, голая?

– Изыди! Изыди! Изыди! – кричала Ефимия.

Третьяк снял с себя однорядку, накинул на плечи Ефимии и подозвал Михайлу и Андрея, чтоб они увели ее в избу к Даниле да поскорее сами возвращались.

Со всех сторон подбегали мужики. Вскоре набралось человек пятьдесят – и ружья верижников разобрали...

Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами и без песнопения вернулись верижники...

Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов.

– Молитесь, братия, порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Исуса! Молитесь, и благодать будет. Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет, а вы сторожили те пытки с ружьями! Грех был! Великий грех! Ружья и рогатины – не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правоверцы семейные, а не пустынноики-праведники! С ружьями ли по земле Иудейской, Египетской и Вавилонской хаживали Моисей и сам Христос?

В разноголосье, по-петушину и не дружно отвечали верижники:

– Филарет! Старец! Тако заведено было в Поморье!..

– Молитесь, молитесь, братия! Не ружьями молитесь, а перстами, как Спаситель заповедал!

Верижники нехотя расползлись по своим землянкам и избушкам. Ничего не поделаешь, придется молиться перстами. Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники, хотя на моление возле часовни порешили: пусть

духовником общины будет Калистрат, а Филарету – епитимья на три года за убиенных апостолов...

ХIII

Лопарева вели на веревке по степи, чтоб он указал, на каком месте Бог послал ему кобылицу с жеребенком.

Тащили да приговаривали: «Кабы всех бар вот так веревками повязать да на рогатины вздеть. Хвально было бы Иисусу!...»

Росная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла.

За минувшую ночь праведники до того излупили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать – не из общины ли?

Безбородый Лука приставил ладонь ко лбу, пригляделся:

– Вроде Третьяк с Михайлой Юсковым.

– Ври, – не поверил Ларивон. – Говорил же батюшка: Третьяку и всему становищу Юсковых – каюк в нонешнюю ночь, и Калистратушке такоже. Потому и верижников с ружьями призывал, как тот раз, еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы.

– Третьяк, Господи помилуй! – ахнул верижник Терентий, помощник апостола Павла. – Михайла с ним, двое посконников и апостол Ксенофонт благостный.

Теперь и Ларивон видел: Третьяк скачет с ружьем и с рогатиной, и Михайла с ружьем и с рогатиной, и посконники с ружьями!

– Спаси Христос! – перепугался апостол Павел. – Откель у посконников ружья объявились?

«Посконниками» называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в станове Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула – под пачпортом пустынного, и Третьяк тоже объявил себя верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведаль да воспользовался ею. Вот почему Третьяк советовал Лопареву примкнуть к верижникам и взять себе в тягость не борону, не чугунные гири, а ружье таскать!..

Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница: сейчас ли его прикончат или к вечеру?

– Третьяк-то, Третьяк-то, а? – суетился Ларивон, не веря собственным глазам. – Живой еретик-то, живой!

Пятеро верховых все ближе и ближе. И ружья на изготовку. Только апостол Ксенофонт без ружья. Он и подъехал первым. Не торопясь спешился. За ним – Третьяк с Михайлой и двое бородачей-посконников.

Ксенофонт благостный указал рукой на Лопарева:

– Развяжите праведника.

Лобастый, лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами – между средним и безымянным, заявил:

– Еретиком объявился барин-то. И веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно.

Ксенофонт тоже поднял ладонь:

– Сказано: развяжите и дайте ему ружье. Так повелел духовник, – объяснил Ксенофонт, и ни слова, что Филарет низвергнут.

Лопарев только покривил распухшие губы. Теперь он никому не верит. Руки у него до того отекали, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Вержник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. С него хватит и той «охоты», какую он пережил за минувшую ночь.

– Бери, бери, праведник, – просил Ксенофонт, не внявший словам лысого Павла, что барин «еретиком показал себя».

– Зачем оно мне, ружье? – хрипло спросил Лопарев. – Меня и без ружья примут на каторге. В общине останусь. Нет! С меня довольно. – И отвернулся.

Ксенофонт взял ружье у Терентия, потом у безусого малого Луки, а Ларивон попятился с ружьем в сторону.

– Самому батюшке Филарету, сиречь того, Спасителю нашему отдам ружье!

Ксенофонт молча отнес ружье в сторону, шагов на десять, и сказал Лопареву, чтоб он тоже отошел, потому – будет сказана воля духовника.

Стали лицо к лицу – пятеро подъехавших к четверем.

Ксенофонт указал на Лопарева:

– Собаки нечистые, как вы избили праведника, какой пришел в кандалы закованный искать милости, а не бато́гов! Ах вы, собаки!.. А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился! Иисуса отверг, Бога отверг, и рога Сатаны на лбу выросли!

От такого неожиданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники.

– Повергли крепость Филаретову, повергли! – возвысил голос Ксенофонт. – И ты, праведник, прости нас, грешных; Сатано всех ввел в заблуждение да и в иску́с. Правил нами, яко зверь рыкающий. Нету теперь зверя. Веревками повязали и кляп ему в рот забили. Микула чепь сготовит, и будет он сидеть на той чепи три года.

– Иисусе!

– Духовник наш теперь – многомилостивый Калистрат, братия!

Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат – духовник общины? Юсковский прихлебатель? Боров упитанный!

– Немо́жно то! Немо́жно! – гаркнул Ларивон. – Не быть духовником Калистрату, кобелю треклятому!

Ксенофонт затрясся от подобного святотатства:

– Немо́жно, гришь?! Немо́жно?! Батюшку Калистрата – да погаными словами?! А ну, праведники, лупите гада Филаретова!

Ларивон отскочил и ружье поднял:

– Не дамся!

– Убьем, собака! – И Ксенофонт сам схватил ружье. (Апостол-то – да с ружьем.) – Убьем, слышишь? И Луку твою убьем, и чад твоих, и Марфу.

– Батюшка! – подскочил к Ларивону безусый Лука. – Молись! Али всем пропадать, што ли? Батюшка-а!

– На колени, собака! – кричал Ксенофонт. – Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепость держать да праведников попира́ть! Нету теперь той крепости, собака! На колени! Али не жить тебе и Луке!

Ларивон повалился на колени.

– Дай сюда ружье, Лука!

Лука передал ружье Ксенофонту и сам упал апостолу в ноги: помилуйте, мол, батюшку и меня с ним.

Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата!

– Бейте, праведники, пса Филаретова! Бейте его, бейте! Чтоб долго помнил. А ты, Михайла, и я ружья возьмем. Ежли он хоть рукой двинет, двумя пулями в башку ему!..

И тут началось поучение «Филаретовой собаки», Ларивона, самого ненавистного для всей общины – тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета.

– Бей и ты, праведник, бей! – призвал Ксенофонт Лопарева, но Лопарев отвернулся и пошел в степь.

С него довольно! Довольно! Ему наплевать, кто теперь духовник общины – Филарет-мучитель или Калистрат многомилостивый, именем которого лупцуют Ларивона.

«Одну крепость заменили другой и возрадовались. Ко всем чертям!» Пусть хоть сам Христос явится к ним в духовники. Лопарев не отдаст Ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью.

Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину, – Ефимия. Надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут дойти люди! Надо вырвать Ефимию из общины. Пусть она узнает, что жить можно и без всеобщих молитв и радений, без тьмы-тьмушей. Если бы Лопарев сам не был беглым каторжником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву? Достать бы подорожную бумагу и добраться до Варшавы. Там у него есть друзья. Он не предал их, нет!..

О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь – для Лопарева.

– Зело борзо! Садись, Александра!

Лопарев вскарабкался на лошадь.

– Нету теперь крепости мучителя, Александра! – возвестил Третьяк. – Калистратушка сбил рога с Филарета, зело борзо. И ружья отняли у верижников. Пусть таскают на хребте бороны или железяки. Прижмем собак, прижмем! Вся крепость на верижниках держалась. Ох, што они вытворяли в Поморье, кабы знал!

Лопарев помалкивал.

– Жалко благостную. Мучение приняла за всех...

– Ефимия?!

Лопарев дернул коня за ременный чембур и помчался рысью к становищу общины.

XIV

Возле избы Третьяка – бабий вопль по убиенному Веденейке...

Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран. На лавке – тело Веденейки, того самого Веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая свечка в ручонках, и около сына на коленях – Ефимия, укутанная по шею в тонкий холст: платья не могла надеть на пожженное и пораненное тело.

Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом.

Как она изменилась, Ефимия! Ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная.

Лопарев опустился перед ней на колени.

– Молилась за тебя, – тихо промолвила. – Пытали звери? Вижу, вижу! – А по щекам слезы, как горошины.

– Если бы я мог знать, Ефимия!.. Обманом увели в степь!

Ефимия смигнула с ресниц слезы, вздохнула, как будто что-то припоминая.

– Нету у меня сына Веденейки. Удушили.

Что же ей сказать? Чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына?

– Думала, убили тебя. Молилась, чтоб защитила тебя Мать Божия. Ни о чем больше не просила Богородицу!.. Ни о чем более!.. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-душителя!.. Не вырастет Веденейка. Не вырастет!

Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стенать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем.

– Жить надо, Ефимия! Ты помнишь, говорила так?

Ефимия покачала головой:

– Нету Ефимии. Нету. Огнем сожгли, погаными устами оплевали. Нету, нету!

Мгновенье помолчав, попросила:

– Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри!.. Тяжко мне. Тяжко. Сыми тяжесть жизни с меня, Мать Пресвятая Богородица. Сжался!.. Не надо жить мне, не надо!.. Не хочу!.. Иди, иди, Александра... Иди!.. Не песнопениями жизнь повита, а слезами да горем, да смертью. Иди!

Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из сеней.

...Синели воды Ишима. Веяло свежестью реки. На отмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поодаль, под навистистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ишимом, равнинная степь, и нет ей конца-края. Есть ли там люди, на том берегу? Деревни, города? Ну а дальше? Что там дальше? Персия, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера? Магометанская, кажется. Ну а что, если во дворце шаха кто-нибудь скажет: «Нету Магомета!» – на огонь поволокут или будут пытать каленым железом?

А река бормотала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды.

Завязь пятая

I

Жизнь, как и река, – с истоком и устьем.

У каждого – своя река. У одного – извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а брести приходится; у другого – бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтоб пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперед, к устью.

Есть не реки, а ручейки – коротенькие и прозрачные, как жизнь младенца: родился, глянул на белый свет, не успел налюбоваться им и – помер. Таким ручейком была жизнь Веденейки...

Если глянуть с истока, иной думает: нету конца-края теченью его реки – и он радуется.

В истоке не оглядываются назад. За плечами – розовый туман, и в том тумане – игрища, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилежание иль леность, – чем любоваться? Зато вперед глядеть радостно. Неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи и разминки – жизнь!..

С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизнеиспытатель, землепроходец, меряющий землю двумя стопами, а не четырьмя, как скот какой.

Только птица разве сродни человеку...

И чтобы ни в чем не уступать птице, человек еще в сказках взлетел на ковре-самолете. И тогда же подумал: есть ли кто равный мне? И ответил: нету. В том его сила и слабость.

Гордыня, властолюбие возносит иного на высоченную гору, и тогда начинается беда...

II

Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился Святой Дух и ему нет равных.

Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали. Тою же хитростью, какой он правил. Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога...

Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту.

На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустыnnики-верижники приговорили Филарета к епитимье на три года.

И тут Филарет подумал: устье близко...

Глянул вперед – страшно: смерть-то вот она, рукой достать.

Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад, в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским – нерадостно. На губе пробился ус, а в сердце любовное тление. Огонь еще не зачался, а только чуть тлел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня.

Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался: холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого сластолюбца, приезжего из Орла.

В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджег барскую маслобойню и убежал. Куда? По белу свету.

Потом странники. Такие же ожесточенные, обиженные жизнью.

– Спасение в старой вере! – вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские иль царские холопы.

С того пошло...

Река в излучине точит берег, рвет его; обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости.

И Филарет отторг радость.

– В мучениях пребывать должны мы, рабы Божьи. Спасение на Небеси будет!

Старая вера затмила небо и звезды, и жизнь.

Свиделся с равным себе по лютой злобе к барам и дворянам – с Емелей Пугачевым, беглым хорунжим из казанской тюрьмы. Принял его как «осударя Петра Федоровича» и помог собирать войско...

Пламенем восстания обожгло щеки и душу – возрадовался.

Силушку употребил в дело.

Пережил разгром праведного войска и ушел в странствие. Не один, с бабой. Казачку Прасковеюшку прихватил с собой. Синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой Хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Прасковеюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Прасковеюшкой сорок годов и ни разу не поцеловал в медовые уста.

III

...В 1694 году в Поморье на речке Выге, при впадении в нее реки Сосновки, Данило Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели два главных монастыря – Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольной, кельи для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек.

Монастыри подчинялись раскольниковому Церковному собору, где и занял почетное место духовника Филарет Боровиков.

Все важные дела – торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные – обсуждались Церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей. Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор под караулом, принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смирительную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали либо сажали на цепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с Поморья.

Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, с Сибирью и даже с заморскими странами.

Жили богато, прибыльно, на широкую ногу. А те, что правили Церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно.

Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольниковых монастырей: с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии; из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золото.

Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников.

Раскольники – участники многих бунтов...

Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя-анчихриста.

«Такоже крепость держать надо! Милосердия нету».

И гордыня свила гнездо в сердце.

И вот низвергнут... Легко ли?

Тяжко.

IV

Длинная-длинная ночь. Впереди – забвение...

На запястье левой руки – железное кольцо на заклепке. Обновка от Калистрата. От кольца – толстая цепь в десять аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил-таки!

Семнадцать суток на цепи. Люто. Люто.

И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики и он, Филарет-духовник, наведываясь в подвалы, думал: обвыклись, собаки!..

Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву.

У оконца еще одна лежанка, и на ней верижник Лука, блудливый пес, которому Калистрат доверил приглядывать денно и нощно за Филаретом.

Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки. Филарет ехидно скрипнул:

– Что узрился, сучий сын?

Лука приподнялся на локте, отпарировал:

– Али те не спится без рогов-то Сатаны? Благостно вышло: два раза трахнул посохом святой Калистрат – и роги сбил. Хвально.

– Пес рваный.

– Горбись, горбись, сатано! Молись, покель рука есть. Не будет руки – ногой будешь молиться.

У Филарета все молитвы вылетели из головы.

– Кабы общину на моление призвать, я бы тебя с Калистратом по костям разобрал в едний час!

Лука заржал:

– Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твоего Ларивона чугуной гирей в тыщу пудов. Го-го-го!

Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала.

Лука покатывается от хохота:

– Тако, тако! Рви ее! Зубами спытай. Зубами. Спомни, как праведника Митрофана три недели держал на чеши и заставлял рвать ее зубами. Таперича сам рви! Ну, чаво?

У Филарета тряслись руки и ноги – до того он рассвирепел. Долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал:

– Глядись в зеркало, собака грязная! Рожу видишь али нет?

Лука слетел с лежанки и – за железную ключку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил припасенную доску и успел отбить удар.

Поглядели друг на дружку, выругались, как умели, и разошлись по своим местам.

Так каждую ночь – мира нету...

Низвергнутый святой духовник – да под надзором блудливого Луки! Кто такое умыслил? Иуда Калистрат.

«Ох-хо-хо! Явился бы Мокеюшка со своей силушкой да вызволил бы меня из неволи, огнем пожгли бы отступников от крепости!» – стонал еженощно Филарет.

Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтоб век не изнасил, побывал в избушке Лопарев...

Калистрат с Третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он припрятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в кармашках пояса-чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался беспамятным, но когда сам Калистрат сунул в печку железную

клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в Поморье.

Тут и появился Лопарев. Под левым затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили, с коростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета.

– «И возлюбил ты, аки сына родного», – напомнил Лопарев.

Филарет не оробел и ответил с достоинством:

– Яко сына, сиречь того – еретика и нечестивца. Тако же, барин.

– Что ж вы притворились? И милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой? По нашей вере так: «Алчущего – накорми, жаждущего – напои!..»

Филарет прищурился:

– Свиныю поганую, какая рылом навоз роет, также хвально кормят: и в пост, и в мясоед, а потом на потребу тела пускают. Ведаешь ли то, барин чистенький?

Лопарев ответил со злостью:

– Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброхотство.

– Спытал, гришь? – Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил: – Когда твой дед православный мово батюшку, холопа, да руками холопов батогами насмерть забил за едное слово, я также спытал и милость вашу барскую, и доброхотство ваше дворянское!

Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что не обойти ее, не перешагнуть словоблудием!

«От барской крепости только и могла народиться вот такая Филаретова крепость, – невольно подумал Лопарев. – Где же правда-истина? Как ее утвердить на Руси, чтоб люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть Филаретову? И наступила бы жизнь вольная да радостная!»

И с тем Лопарев и ушел от старца...

V

«Боже, Боже! На кого Ты меня покинул?» – молился Филарет, отбивая поклоны, как вдруг на улице послышались голоса посконников, охраняющих избу. Филарет насторожил ухо и открыл рот – так слышнее.

– Какая епитимья?! За што?! – узнал Филарет голос Мокея.

Лука подскочил на лежанке, да к двери. Перекладина на месте, но удержит ли?

– Ври, посконник! Убью! Сей момент! – гаркнул голос Мокея, и Филарет притопнул:

– Тако, тако, сын мой! Убивай гадов ползучих! Убивай!

Голоса, голоса, но чужие, и слов не разобрать. И все стихло.

Раздался стук в дверь.

– Кто там? – окликнул Лука.

– Запрись покрепше, Лука, – раздалось в ответ. – Мокей возвернулся с Енисея.

– Господи, помилуй! – оробел Лука, крестясь.

Филарет воспрял. Ого! Мокей явился. Сын многолюбимый, сладостный, желанный. Богатырь-славущка.

– Как теперь запоешь, верижник окаянный? Погляжу-ко.

Трусоватый Лука не стал ждать, когда в избу вломится Мокей Филаретыч да «пропишет его в книгу животну под номером будущего века». Поспешно вынул из скоб перекладину – и был таков!

– Ага! Ага! Припекло нечестивца, – радовался Филарет, будто воскрес из мертвых. Теперь-то он покажет себя. Небу над Ишимом жарко будет. И Калистрата – на огонь, и всех проклятуших изменников-апостолов. «Ужотко покажу праведникам сладчайшим, как на хво-

росте жариться. Ох, кабы лес тут был красный, как на Каме! Учудил бы огневище!» И тут же передумал. К чему огонь? Не слишком ли почтенной будет смерть на огне для апостолов-отступников, тем паче для Калистрата с Юсковым? «Не огнем – щипцами терзать надо. По два раза резать языки, как Ионе резали в Соловках. Пальцы ломать, чтоб хрустели. Иглы загонять под ногти. Ребра ломать, чтоб трескали».

Еще бы какую казнь придумать?

Но где же Мокей? Или к Ларивону пошел, чтобы сейчас же поднять верижников?

«Хвально то. Хвально», – переминался с ноги на ногу Филарет, поджидая Мокея с Ларивоном и с верижниками.

Пусть Калистрат отобрал ружья у верижников и отдал посконникам, – тем злее верижники. Они с топорами, с жердями побьют посконников. А сыновья-то какие у батюшки Филарета – богатыри. Прасковеюшка родила только двух казачат, но зато на диво всему Поморью. Особенно Мокей в силе. Равных нет.

Минуты ожидания тянутся мучительно долго, как тропа в неведомое, будто течение времени остановилось.

«Где же они, сыны мои отрядные? Горлом бы надо подымать всех верижников. Святого повергли. Вопить надо, вопить».

Если бы не цепь! Он бы сейчас и мертвых поднял на всенощное судное моление.

И вот, подобно буре или черному вихрю, ворвался в избу Мокей. Голова под потолок. Без войлочного котелка, кудрявая, мокрая. Синие глаза вытаращены, дикие. Кожаные штаны, натертые от долгой езды в седле, вздулись пузырями на коленях. Ворот холщовой рубахи разорван от столбика до пупа. Богатырская грудь вздымается, как кузнечный мех. Из вытаращенных глаз будто льдом брызнуло на старца, и он попятился к лежанке. Только тут увидел Ларивона, перепуганного, притаившегося возле распахнутой двери.

Звякнула цепь. Филарет и сам вздрогнул от этого звука. Мокей устоял на цепь и будто стал ниже ростом.

– Гляди, гляди, Мокеюшка! – гремел цепью отец. – Повязали меня еретики, собаки гряз...

– Убивец! – грохнул сын, потрясая пудовыми кулаками. – Убивец! Сына мово Веденейку удушил! А-а-а! Убивец!

Филарет повалился на колени.

– Кабы ты... кабы ты... не батюшка мой!.. Кабы ты!.. – Мокей рванул половинку разорванной рубахи, обнажив волосатую грудь. – Убивец!..

Филарет съежился, тряс белой головой, бормотал молитву.

– Вера твоя... вера твоя... сатанинская!.. Как ты удушил Веденейку, сказывай? Сказывай, мучитель! Сатано треклятое, сказывай!..

– Иисусе Христе! Иисусе Христе! – бормотал Филарет, размахисто и быстро накладывая кресты.

Мокей глянул на иконы, на три свечи на божнице, потом на отца и опять на иконы, и вдруг рванулся в передний угол, сорвал большого Спасителя и одним махом о стол – икона в куски разлетелась, и столешня проломилась.

– Иисус твой милостивый и ты с Иисусом – убивцы! Кровопивцы! Убивцы! – орал Мокей во все горло, хватая икону за иконой и разбивая их о стену так, что щепы брызгали.

Ларивон, неистово крестясь, подхватился и кинулся бежать.

– Убивцы! Убивцы! Нету Бога, нету! Не верю! – еще раз выкрикнул Мокей и, потрясая кулаками, пошел из избы. Ударился головой о верхний косяк, выпрямился, схватил продольный косяк, вырвал его и тогда уже, пригнув голову, ушел...

Возле избы не оказалось ни одного караульщика – все разбежались. И в становище – ни души.

– Подошли все, или как?

Постоял, подумал, остывая на воздухе.

Ах да! Ларивон сказал, что Ефимию апостолы пытали огнем, как еретичку, потом назвали праведницей, после того как удавили Веденейку, и что Ефимия теперь лежит в избе Третьяка, а возле нее беглый каторжник, барин какой-то, Лопарев; и что батюшка Филарет будто из беглых холопов помещика Лопарева. Мокей так и не уразумел, у какого Лопарева отец был крепостным? У этого ли, что появился в общину в кандалах, или у какого другого. Пошел к становищу Юсковых. Косяк от двери нес в правой руке, как пруттик. Ни тяжести, ни удобства для драки. Но если кого умиловить по башке – душа до рая небесного долетит быстрее пули из ружья.

– Веденейка мой!.. Веденеюшка!.. Чадо мое светлое да разумное, где ты? Погибель пришла, гибель! Чрез Иисуса, паче того – чрез Бога!.. Проклинаю-у-у-у! – гаркнул в небо и погрозил звездам березовым косяком. Если бы мог, посшибал бы звезды, рог кособокого месяца и дырку проломил бы в тверди небесной, чтобы трахнуть по лбу Спасителя и Бога заодно; Отца и Сына! Молятся вам! Молитвы творят! А вы – Сатано, но не Боги! Сатано! Не верую боле, не верую!

Даже собаки и те попрятались от ярости Мокея Филаретыча.

В становище Юсковых всполошились поморские лайки, но ни одна не отважилась подступить к Мокею, будто нюхом чуяли – добра не ждать.

Мокей постоял возле изгороди, поглядел туда-сюда, потом пнул ногою изгородь, повалил ее и вошел в ограду.

Миновал избу Данилы-большака, избу Микулы, полуземлянку Поликарпа, с которым вернулся из поездки на Енисей, опрокинул мимоходом кожаные мялки и, размахнувшись косяком, ударил по кадке с водой. Клепки от кадки разлетелись во все стороны с той же легкостью, как дробь из ружья.

Из-за сарайчика вышли четверо с ружьями.

– Опамятуйся, Мокей! – узнал голос Третьяка.

– Што-о-о?! Где Ефимия, Третьяк?

– В моей избе лежит. Ты же знаешь, как ее жег огнем твой батюшка.

– Нету батюшки! Нету. Сатано есть, – ответил Мокей, подобно раскатам грома. – Низверг я вашего Иисуса! В щепу обратил. Не верую в Бога, слышите? Не верую!

– Опамятуйся, Мокей!

– Што-о-о?! – Мокей поднял над головой косяк. – С ружьями вышли? Четыре на одного? Еще Иисус с вами? Ну, пуляйте! Не убьете враз – не жить вам всем, говорю.

Третьяк кинул ружье к сараю и пошел навстречу Мокею.

– Тут нету убийцев, Мокей. И сына твоего Веденейку не нашими руками удушили. И Ефимию, племянницу мою, не нашими руками жгли.

– О! – Мокей опустил косяк и бросил его в сторону, продолжая стонать. – Сына мово, Веденейку!.. Чадо мое светлое! Удушили! – И, закрыв ладонями лицо, зарычал, сотрясаясь всем своим мощным телом. – Кто возвернет мне Веденейку? Кто? Красавца мово? Кто возвернет?! Иисус Христос или Сатано?! Кто?!

Молчание в ответ.

– Кто возвернет Веденейку?!

Михайла Юсков подошел к Мокею, спросил:

– А кто возвернет мне Акулину со чадом?

Мокей уставился на Михайлу и, преодолевая тяжесть на сердце, переспросил:

– Какую Акулину?

– Бабу мою со чадом. Али не знаешь Акулину, на которой я женился, когда вышли с Поморья?

– Акулину? Померла, што ль?

– Твой батюшка огнем сожег яко еретичку и чадо такоже. Уже семь недель прошло. Мокей сграбастал себя за волосы и готов был оторвать собственную голову, изрыгая проклятья на отца-убийцу.

– Буде, Мокей. Буде. Нету у нас этой крепости, зело борзо. Поручили.

– А Бог есть? Иисус Христос есть?

– Не богохульствуй, Мокей. Срамно так-то.

– Срамно?! Удушить малое чадо во имя Иисуса – то не срамно? Можно? Иисус повелел? Давайте мне тово Иисуса, я его не на Голгофе распинать буду, я его...

Мокей не умыслил, какую бы казнь свершил над убийцем Иисусом.

– Где Ефимия?

– Сказал же: в моей избе лежит.

– Пытал ее сатано огнем?

– Пытал.

Мокей направился к избе, Третьяк за ним. Не надо бы тревожить больную Ефимию, и без того до смертушки запуганную. Но Мокей твердит свое:

– Погибель пришла мне, Третьяк. Вижу то. Чрез отца своо треклятого. Веровал в него, яко в Иисуса. А кто они теперь – Иисус и батюшка мой? Тати али того хуже. Попрал их, изверг из души!

– Не кричи так, Мокеюшка. Говорю же – Ефимия дюже хвора; у смерти на оглядках.

– Ладно. Кричать не буду, Третьяк. Нутром гореть буду.

Третьяк первым прошел в избу. От сальной плошки в избе густой полумрак. Справа – малюсенькая глинобитная печь с подом (хлеб-то надо печь); слева – кухонный стол с кринками, чугунами один в другом, деревянные ведра. В избе троим не повернуться – до того тесно. Только у печки пяточок, где еще можно стоять. Все остальное занято пятью коваными сундуками с рухлядью и двумя лежанками из березовых кругляшей с толстым слоем умятого ковыльного сена, а поверх сена – пуховые перины. Наволочки на подушках шиты древнерусскими узорами, одеяла с лисьими подбивами, легкие, удобные. Покрывала и рухлядь – голландские. Третьяк не обошел себя, когда от Церковного собора плавал в Голландию с пушниной и с рыбой от собора. «Мужик оборотистый – жить умеет», – говорили в Поморье про Третьяка. Одна беда: сыскные царские собаки могли накрыть Третьяка, приговоренного заочно к повешению. Много он учудил в Москве и много добра нагабил, породнившись с французами!..

Мокей сразу увидел Ефимию – подружью свою, из-за которой однажды попрали волю родителя, а если к тому пришло, попрали бы и Бога.

Захолонуло сердце, как только встретил черный, текучий, отчужденный и в то же время наполненный через края смертным страхом взгляд Ефимии.

– Не пужайся, – вывернул из нутра и тяжело вздохнул.

Голова Ефимии до щек утопала в пуховой подушке. Волосы на лбу кудрявились в кольца. Глаза ввалились, щеки впали, резко обозначились скулы, и сама такая непонятная, льдистая, будто впервые увидела богатыря Мокея.

На другой лежанке проснулась баба Третьяка, Лукерья, телесая, успевшая натянуть до шеи одеяло и накинуть на русые волосы черный платок. Рядом с Лукерьей – две девочки, беленькие, одна на другую похожие, как близнецы. Возле дверей остановился Третьяк и только что перешагнувший порог, любопытный и настороженный Лопарев в однорядке, без войлочного котелка.

Для Мокея существовала только Ефимия – ее бледное, исхудалое лицо, чуть горбатый красивый нос, ямочка на подбородке и белые руки поверх шелкового синего одеяла. На коленях одеяло приподнялось шатром.

Мозолистая рука Мокея закрыла, как черным камнем, белую руку Ефимии.

– Вот и возвратился я с Енисея, – сообщил, и кадык передвинулся на его толстой шее. – Ведаю теперь хитрость Сатано, ведаю!.. Знать, убивство обдумал загодя. Наказывал, чтоб я не возвратился с Енисея – место обживал бы со товарищами. Двух кого послал бы в общину, а четырнадцать осталось бы на новом месте. Умыслил, убивец!.. Умыслил, треклятый. А я вот возвратился – нутро болеть стало. Места себе не находил в тайге дремучей. На зверей хаживал, а рогатина в руке дрожала. От смутности все, должно. Чужал, беда где-то. А где? Не мог понять. Думал, с общиной што. Вот и поспешил обратно с Поликарпом и с Варласием Пасхой-Брюхом. Одиннадцать там осталось в тайге. Двух медведи задрали. Также вот.

Ефимия слушает, а в глазах испуг мечется.

– Боишься вроде?

– Чего мне... бояться? – И тут же подумала: «Отреклась же, отреклась от Мокея на судном спросе, а руку отнять не могу».

– Сатано пытал тебя?

– Глядеть хошь?

– Покажи.

Ефимия молча откинула одеяло – гляди, мол, коль словам не веришь. Грудь вспухшие, пожженные клюшкой, затянулись черными коростами, как зимняя кора на плакучей иве. И на животе такие же коросты и опухоль. И на плече рубец от пастырского посоха.

Закрылась, сказала:

– Ступай теперь. Благодарствуй батюшке Филарету Наумычу, яко праведнику пречистому, – и, закрыв глаза, прикусила губу, чтоб сдержать слезы.

У Мокея сами по себе поднялись кулаки и в горле костью застряла злоба. На пропыленных медным загаром щеках вспухли желваки. И борода будто задымилась рыжим пламенем.

– Кабы он... не батюшка... по ветру бы развеял пеплом!

Помотал головою, спросил:

– Кто из апостолов сполнял волю сатаны? Кто жег тебя железом? Калистрат?

– Нет, Калистрат не жег.

– Кто? Сказывай! За твои коросты, за Веденейку удушенного нонешнюю ночь суд буду вершить. Один супротив всех верижников и паче того – апостолов. Супротив бород сивых и чугунных! Обмолочу головы, а потроха в землю втопчу на три сажени. Сказывай!

Глаза Ефимии распахнулись от ужаса. Знала: глагол Мокея не по ветру бьет, а по живому телу. И если Мокей поднял руку, жди: смерть будет. Сколь раз сама ждала смерти! Но рука Мокея знала-таки меру для бабы своей: спускала силу, не доходя до тела.

– Сказывай! Али мало тебя жгли?

Ефимия горестно вздохнула:

– Оттого и крепость народилась. Тиранство – за тиранство. Око за око, зуб за зуб. К гибели то приведет, не к жизни. Как бары да дворяне тиранят народ, так и сам народ промеж себя стал тиранить друг друга, да мучить, да изводить. Не по-Божьи то! Иисус заповедовал...

– Нету Иисуса! В щепы разлетелся! – бухнул Мокей, как молотом по наковальне.

Лукерья с перепугу икнула и, не успев перекреститься, нырнула под одеяло, за нею – девочки.

Третьяк набожно перекрестился:

– Опамятуйся, Мокей. Опамятуйся. В избе-то у меня – да экое богохульство. Неможно так, зело борзо.

Мокей гавкнул, не обернувшись:

– Выдь за двери!

– Изба-то моя, Мокей. И баба моя тут со дщерями.

Мокей что-то хотел сказать Третьяку, но увидел чужого человека, большелобого, глаза-стого – не посконника образина и не верижника. Не тот ли барин Лопарев, про которого говорил Ларивон?

– Кто такой?! – И толстые брови Мокея сплылись. – Чо молчишь? Али язык за дверью оставил?

– Лопарев, – последовал ответ.

– Барин?

– Беглый каторжник.

– Из бар да на каторгу – дивно. Таперича праведник, сказывают? И пачпорт пустынника заимел?

– Не праведник и не пустынник.

– И то! – хмыкнул Мокей. – Из бар да в праведники – небо хохотать будет. Ведомо, каковы бары да дворяне! Холопов бьют, холопов жрут и на холопах выезд совершают, как на собаках лопари возле Студеного моря. Слыхал про лопарей? Дикари, а чище бар и дворян, паче того – царя и Анчихристовых попов.

Ефимия хотела защитить Лопарева, но побоялась перечить Мокею: как бы хуже не было.

Мокей посопел, кивнул головой:

– Ступай из избы, барин. Аль ты от Сатаны народился – зришь чужую подружью в постели да без платка?

Лопарев перемял плечами и ушел. Мокей кивнул Третьяку, и тот не стал ждать, когда непрошенный гость даст пинка.

– Барина зрить – свою душу зорить, – проворчал Мокей, закрывая дверь, а тогда уже вернулся к Ефимии.

– Верижников молотить буду. Апостолов! Также обмолочу, яко ячмень из гумна.

Ефимия приподнялась на подушках, думала, чем бы укротить ярость человека, потерявшего голову:

– От зла зло творить будешь. Под Богом ходишь, вспомни!

Мокей покривил губы:

– Нету Бога, Ефимия. Нету! Не видывал, не зрил за тридцать годов. Сына мово и твого, Веденейку кудрявова, под Исусом удавили. И Бог то зрил, и силу дал душителям. Такова Бога, паче с ним Исуса – пинать надо, в землю вогнать на три версты, в геенну огненную ввергнуть, в смолу кипучу!

Ефимия не на шутку перепугалась и заслонила ладошками.

– Что испужалась?

– Не богохульствуй!

– Али Бог повязал тебя веревками на Лексе и тащил пытать в подвалы собора?! Бог тебе жег каленым железом перси и чрево? Зрила Бога али Сатану? Нету Бога, Ефимия. Омман едний, как перст вот.

– Изыди, изыди! Исуса – да погаными устами! И гром тебя не ударил?! Мокей осклабился:

– Не ударит небось. Нету у нево грома. Нету у нево молний. Нету у нево ушей. Нету у нево глаз. Пустошь едная. Исус от книг пришел со Богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили звери. Туман напустили, чтоб люди за тот туман огнем себя жгли, молитвами да постами морились да младенцев душили. И то есть Бог? И то есть Спаситель?!
– Свят, свят, свят!

– Свят, свят, свят!

– Али ты веруешь опосля железа? Опосля Веденейки? Озрись, отринь туман тот!

В глазах Ефимии пламя гнездо вьет. Мокей ли рядом? Не Сатана ли в образе Мокея и с бородой Мокея?

Лукерью под одеялом трясет лихорадка – до того перепугалась.

– Час настал, откроюсь тебе, – продолжал Мокей. – Отринул я Бога, когда ишшо парнишкой ходил. Батюшка тогда в Большом соборе на Выге духовником был, пытки учинял еретикам. Водил меня в каменные подвалы, чтоб я потом такоже изничтожал еретиков. Зрил, зрил!.. Кости ломали тем еретикам, языки щипцами вытаскивали и ножом отрезали, уши резали, под ногти гвозди загоняли и жгли, жгли. Как тебя вот. Каменел потом от страха. Падучая стала бить, и батюшка отослал меня к охотникам-верижникам на море. И думал с той поры: Бога нету!.. Лютость и зверство едное, чтоб веру одну держать.

И, потрясая кулаками, спросил:

– А к чему та вера, скажи? Туман тот? Не принимаю тумана. Жить вольным хочу, яко птица: лба не крестит и пост не блюдет, а под солнцем ликует.

Ефимия судорожно сжимала руку рукою. Если бы давно вот так открылся Мокей! Вечно молчал, сопел себе в бороду, свирепостью душил, а от сердца слова ни разу не обронил.

– Озрись, озрись, Ефимия! Отринь туман тот. Клятву дам: на руках носить буду. В городе жить будем. Без Бога, без Иисуса.

Ефимия готова была втиснуться в подушку:

– Не будет того, не будет! Изыди, изыди! Богородица Пречистая, спаси мя!..

Мокей глянул на иконы в переднем углу:

– Пощепал бы их! Со Богородицей, со святыми угодниками, со Иисусом. Ладно, молись.

И ушел.

Ефимия не могла оторвать взгляда от двери, за которой скрылся Мокей.

Он ли был в избе? Мокей ли?

VI

Не удалось Мокею обмолотить апостолов и верижников. Как только высунул голову из сенной двери на улицу, в тот же миг в шею впилась веревка. Не успел рукой взмахнуть, как дыхание перехватило. Третьяк постарался с Микулой.

Захлестнув удавкой, повалили и руки заломили за спину да веревками связали. И ноги стянули в кучу.

– Не удушили? – пыхтел Микула.

– Экого в час не удушишь, – ответил Третьяк и чуть отпустил веревку на шее Мокея. Тот со свистом набрал воздух, узнал Юсковых.

– На огонь поволокете? – спросил. – Иисус-то, Он с огнем да с ворами и грабителями за одним столом трапезу правит.

Третьяк, долго не раздумывая, завернул в сени, нашарил там какую-то тряпку, помойную, должно, и этой тряпкой упаковал срамную пасть богохульника.

Подняли и потащили к избе Филаретовой на судный спрос...

По всей общине – вопль и стон...

Мыслимое ли дело: еретик пощепал древнейшие иконы! Такого не зрили отроду до нынешнего века. Старушонки ревели в голос. Старики изрыгали проклятия. Молодые мужики и молодухи набожно крестились. Ну а пустынноики-верижники – тут и говорить нечего: источались в вопле, как ветер в свисте в зимнем лесу.

Со всех землянок и избушек бежали мужики и бабы к избе Филарета, чтоб откреститься от еретика и отвести от себя кару Господню.

Возле избы Филарета, на той самой телеге, где когда-то скрывался беглый каторжник Лопарев, соорудили стол, накинув на телегу скатерть, а на ней – щепы от древних икон. По краям телеги свечи зажгли.

Сытый чернобородый Калистрат, умильный и благостный, торжествующий свою полную победу над Филаретом, возвышался возле телеги в облачении духовника. И крест золотой

на цепи, и посох новый с золотым набалдашником от старого, и голос зычный, и в академии побыл к тому же. По всем статьям – архиерей.

Мокея поднесли к телеге, развязали ноги.

– Выньте кляп, – повелел Калистрат и приказал, чтоб привели старца Филарета.

Низвергнутый духовник идти не мог: паралич хватил. Правая рука и нога чужими стали, и рот перекосялся. Легко ли было пережить, как сын Мокей щепал самого Иисуса?!

Отца и сына поставили рядом. Двое верижников поддерживали старца под руки.

Калистрат помолился, начал спрос:

– Сын ли твой Мокей стоит рядом?

У Филарета что-то забулькало в глотке, не разобрать.

Калистрат протянул руки к общинникам:

– Братия и сестры многомилостивые! Зрите, зрите, вот он, пред очами вашими старец Филарет. Поднимали вопль, што я под спудом держу Филарета и посох отобрал силой, а того не ведаете, как я сбил тем посохом рога Сатаны с башки старца.

Пронесся глухой стон: «Оглаголать, оглаголать еретика», – что означало: обвинить.

И Калистрат «оглаголивает»:

– И вот, братия и сестры, заявился ноне вечером Мокей, сын Филаретов. Кабы старец не осквернил Иисуса, и Творца нашего, и Духа Святого, разве свершилось бы экое святотатство?! Зрите, иконы наши в щепу обратились. Образ Спасителя...

Калистрат перечислил иконы.

Суеверная толпа старообрядцев придвинулась к телеге, требовала выдать еретика Мокея, чтоб тут же растерзать его и в Ишиме утопить.

Протодьяконский бас Калистрата уgomонил единовѣрцев:

– Волки вы али праведники? Под Богом вы стоите или под Сатаной? – и ткнул ладонью в небо.

Мокей слушал, понимал и ухмылялся. Калистрат дурачит мужиков и баб, а сам себя почитает «вседетельным» – совершенным.

– Ты веруешь в Бога, Мокей, сын Филаретов? – толкнул бас Калистрата.

– А ты веруешь, вседетельный Калистратушка? Али притвор еднѣй, штоб брюхо набить дармовой снѣдью? Эко! Он верует! Чей крест носишь? Филаретов! Четыре фунта золота! С этим крестом отец мой Казань брал, а ты его себе нацепил. Хвалѣно!

Калистрат затрясся от злобы:

– Веруешь в Бога али нет? Глаголь, брыластый сын еретика!

– Ты сам брыластый боров!

Как можно стерпеть такое поношение? Духовник Калистрат – да брыластый – толстогу-бый, значит, срамной!

– В третий раз вопрошаю: веруешь в Бога?

– А ты сам зрил Бога? Иисуса зрил? Угодников зрил? И где они, сказывай! На небеси? На тучах али под тучами? На звездах сидючи али под звездами?

– Еретик, – возвестил Калистрат.

– Также ты, брыластый, еретик, паче того – мытарь хитрый!

– Еретик, еретик, промеж нас, братия! – орал Калистрат.

– Брыластый боров, вор, мытарь, крыж римский! – отвечал Мокей.

Верижники попадали на колени от богохульства Мокея. Старухи визжали. И вдруг возле телеги появилась Ефимия в черном платке, укутанная до шеи в синее покрывало. Как она в таком одеянии прошла к телеге, никто не заметил. Приблизилась к Калистрату, распахнула на груди покрывало, спросила:

– За что мне перси жгли железом, Калистрат, скажи? И ты зрил то и молчал. Глядите, люди, как мне праведники Тимофей, Андрей и Ксенофонт жгли железом перси и на иконы

молились. Глядите! И под теми иконами сына мово и Мокея, Веденейку, подушкой удавили. Бог ли то заповедовал, скажите?!

Толпа притихла, замерла.

Старухи испуганно отпрянули: срам-то какой! Ефимия-то совсем сдурела – голые перси выставила на судном моленье!

– Голую, меня пытали старцы, жгли огнем да на иконы молились! И то творилось по воле изгоя Филарета, сатано треклятого! И Бог то заповедовал, скажите?

У Калистрата жилы вздулись на лбу. Он до того взмок в своей иоановской верблюжьей рубахе, что даже чувствовал, как по ложбине спины течет пот.

– Мучение ты приняла во имя Господа Бога нашего, Ефимия! – ответил Калистрат и гаркнул во все горло: – Помолимся, братия и сестры, за мученицу Ефимию!

Помолились, пропели аллилуйю.

– Поди теперь, Ефимия. Негоже стоять так-то, – погнал Калистрат.

Ефимия не уходила.

– Мокея рязвяжите. Не делайте суд Божий своими руками. И сказано в Писании: «До семи ли раз прощать брату моему, согрешающему против Творца нашего?» И сказал Иисус: «Не говорю до семи, а до семижды семидесяти раз». Тако ли в Писании, Калистрат?

Калистрат подтвердил.

– Сына мово и Мокея удушили. Чей грех?

– Изгоя Филарета! Сатано!

– У Сатано были руки старцев: Тимофея, Ксенофонта, Андрея. Пошто не судите их, мытарей?

Верижники закричали: гнать бабу! Но Ефимия требовала свое:

– Не сүдите мытарей, не судите Мокея. Иконы он порубил в беспамятстве. И Бога отринул от тяжести. Пусть идет в мир и там узнает: есть Бог или нету. Развяжите его!

Третьяк подскочил к племяннице, чтоб увести ее, но помешал Лопарев.

– Мокея сүдите – судите меня! – кричала Ефимия. – Жгите огнем, и тогда погибель всем будет за мытарство, тиранство! И сказал Исая...

Калистрат сообразил, что решение надо принимать немедленно и что брыластого еретика Мокея не удастся сжечь, если оставить в живых Ефимию. А разве можно тронуть благостную мученицу, не посрамив самого себя?

– Братья и сестры, – затянул Калистрат, – отторгнем еретика, яко не бымши с нами. Уйдешь ли ты сам, Мокей Филаретов, али гнать тебя батогами связанного?

Мокей умоляюще воззрелся на Ефимию.

– Подружия моя, Ефимия, пусть со мной уйдет. Не жить ей с вами, мучителями! Уйдем, подружия.

Ефимия откатнулась, молитвенно сложив руки на груди. А со стороны женщин и даже старух пронесся вопль:

– Не уходи, благостная! Не уходи. На кого ты нас покидаешь, скажи?

– Со Иисусом оставайтесь! – ответил Мокей. – Со Калистратом-гордоусцем.

– Батогами гнать еретика! Батогами!

– Подружия, уйдем! – звал Мокей супругу свою.

– Не будет того, Мокей Филаретов. Не была я твоей подружией, а черной рабыней, сенной девкой в избе Филаретовой. Веденейку мово мучитель отторг от груди моей и удушил! Не стало Веденейки, чужие мы вовсе, Мокей Филаретыч. Прощевай! Пусть настанет в душе твоей просветление.

– Оно у меня настало, – не сдавался Мокей. – Озрись, может, и ты станешь как я.

– Не будет того, не будет!

Ничего не поделаешь. Надо уходить одному без подружии. И тяжело и горько.

– Дозвольте на могилке чада мово побыть, – попросил Мокей, и общинники разрешили ему погостить на могилке сына.

До солнцевсхода Мокей просидел со связанными руками на холмике могилы, и кто знает, что он передумал за это время?!

Сготовили Мокею лошадь в седле, на которой он вернулся с Енисея, положили в мешок каравай хлеба, сушеной рыбы и только тогда развязали руки. Третьяк и два надежных посконника стояли с ружьями, предупредив: если Мокей заартачится, стрелять будут.

Ефимия тоже пришла проводить Мокея.

– Пусть дорога твоя будет светлой, яко солнышко, – пожелала Ефимия, низко поклонившись. – Прощевай!

– Прощевай, подружия!..

Мокей погнулся в седле, тронул поводьями. Ларивон на лошади поехал провожать его.

Завязь шестая

I

Черной застывшей рекою прорезался по степной равнине Московский кандальный тракт. Два конца у тракта, как у веревки, да концов не видно.

Поверни коня на закат солнца – в Тюмень уедешь, а там через Урал на Волгу иль в Москву, в Суздаль, в Поморье – куда угодно.

По изведанной дороге легче ехать, было бы куда. Мокей подумал, повернул солового коня на восход солнца.

Ларивон помалкивал. Как там ни толкуй, а брат – еретик, древние иконы пощепал, Бога отринул.

Надолго ли расстанутся? Кто знает! Может, навсегда.

– Как теперь жить будешь, Ларивон?

Ларивон перекрестился:

– И жизнь и смерть в руце Бога.

Мокей покособочился в седле:

– Богу молись, а за ум берись, скажу. Третьяк с Калистратом прибрали общинное золото, гляди, как бы холопом не стал у Третьяка.

– Холопом не буду.

– Зри за Третьяком. Волк зубастый; хвост – лисицы.

Ларивон понимает: хвост у Третьяка что у лисицы, а пасть зверя.

– Ежли узришь ощеру, шибани по башке да общину на свою сторону перетяни. На новом месте дом поставь о пяти стен, какой был в Поморье. Может, понаведаюсь к тебе на Енисей.

– Дык говорили же: место приглядели не на самом Енисее, а в тайге?

– Тамошнее Енисейским прозывается. Как у нас Поморьем.

– Тако!

– Батюшкин крест золотой сдери с брыластого.

– Духовник он таперича, брыластый, как сдерешь?

– Верижников зуди.

– Неможно. Ересь будет.

Мокей уставился на старшего брата огненным взглядом, да разве прожжешь шкуру Ларивона?

– Рухлядь твою Третьяк не ворошил?

– Эва! У Третьяка своей рухляди много. На пяти рыдванах ташил. Али запомятовал?

– Гляди! Деньги запрячь в землю. Паче того – золото.

Ларивон вытаращил глаза:

– Откель деньги? Золото? Разве батюшка дозволил бы, штоб утаить кусок от общины? В ремне золото носил да в кованом сундучке. Третьяк с Калистратом взяли.

– Дурак! Кругом общипанный. Чем жить будешь? Третьяк общину порешит, и ты в холопах будешь ходить.

И тут же достал из потайного кармашка в очкуре штанов несколько золотых и бумажных денег, припрятанных на черный день.

– Бери! Да чтоб Третьяк не унюхал.

Ларивон запрятал деньги, подумал: ладно ли будет, если утаить от общины?

– Тот барин, Лопарев, к Ефимии льнет?

– Из-за того и батюшка пытал ведьму, чтоб порешить всех одним часом. И барина, и Третьяка, и всех иудов Юсковых. Чрез них пришла напасть. Барин-то у Данилы Юскова живет, а к Третьяку на оглядку ходит. К Ефимии, значит. И пачпорт достала барину от Юсковых, и сговор имели, как порешить духовника да Калистрата в чин возвести.

Мокей долго молчал, раздувая ноздри. Понаведаться бы тайно в общину да захватить барина возле Ефимии, – и одним разом отправить обоих на небеси.

«Озрись, отринь туман тот», – вспомнил Мокей и содрогнулся: как жить без Бога? У кого просить милости и кому грехи отдавать? «Едный как перст. Конь подо мной, да степь передо мной». Не до Ефимии в такой час. И без того неведомо, куда ехать, где жить и что в изголовье положить. Камень ли, ком сена или взять у кого подушку!

– Прощевай, Ларивон!

– Прощевай, Мокеюшка. Опамятуйся да покаяние наложи на себя, и Бог простит, может. Поклонились друг другу и разъехались.

II

Смятение в душе Ефимии. И в жар и в холод кидает...

«Озрись, отринь туман тот!» – бьет, бьет нутряной вопль Мокея.

«Нету Бога! Сына мово и твово, Веденейку, под Исусом удавили!»

Правда в том, и горечь в том. Сама себе не верила. Накипь слоилась на сердце, истекая скупыми слезами.

Вспомнила, как Амвросий Лексинский, потрясая перед нею Библиями на разных языках, вопил в пещере: «Блуд, блуд, скверна книжников, а не Божье слово». И Ефимия боялась тому поверить: правда ли то, что Библия и откровения апостолов в Евангелии не Божье слово, а скверна книжников? Думала: Амвросий из памяти и разума выжил, потому и отринул Бога. И все-таки тянулась к Амвросию: слушала неистового старца, а потом записывала в тетрадку все его богохульства – не для предательства Церковному собору, а для собственного разуме-ния.

И вот Мокей, сын Филаретов. Не открывал разночтения и путаницы в Святом Писании на разных языках, а просто нутром, жизнью своей пронзил, прозрел, и – отринул Бога «яко не бымши». Не потому ли он, Мокей, терпеть не мог, когда она, Ефимия, говорила ему про Писания? «Не мое то дело, – обычно отвечал он. – Писанием зверя не убьешь и рыбу из моря не выловишь».

И вдруг открылся. Нежданно-негаданно. Налетел, как черная буря, переполошил все становище древних христиан и будто копытом ударил по тверди небесной, и не стало там ни Бога, ни Спасителя, ни Святого Духа, ни Божьих угодников.

Ефимия содрогнулась от страха...

И не одна Ефимия...

Подобного Мокея никак не ожидал встретить Лопарев. Он думал, что Мокей – первобытный космач, такое же непроторное существо, как и его старший брат, Ларивон Филаретыч, а тут – богатырь-силушка, низвергнувший богов и, как обухом топора, со всего размаха трахнувший по самой крепости. «Это же сам Пугачев или Стенька Разин, – думал Лопарев, когда Мокей прогнал его из избы, чтобы он не зрил подружью в постели без платка. – Если бы нам такого Мокея на Сенатскую площадь – поражения не было бы. Пестель убоялся поднять такого Мокея, потому и отказался призвать народ к восстанию. А без таких Мокеев Русь не обновить и самодержавие не свергнуть». И тут же возразил себе: «А что будет с нами, с просвещенными дворянами? Или так же, как Мокей – иконы, пощипают всех на лучину? Резня будет, кровь будет. Много крови будет».

Нет, еще не созрел народ для такого восстания. Можно ли допустить жесточайшую резню, какую учинил Пугачев и все его войско? «Не с дикарством поднимать народ надо на обновление России; не тащить на престол „справедливого осударя-батюшку Петра Федоровича“, а чтоб из самого народа вышли справедливые правители России; не тираны, каким показал себя корсиканец во Франции, а такие, как русский академик Михайла Ломоносов!...»

Крепко задумался беглый колодник Лопарев; себя он увидел в Мокее и невольно признался, что нет в нем такой решительности и необоримой силы, как в Мокее. «Это же ураган! Тайфун. Одним махом покончил со всеми богами и святыми угодниками».

И когда Третьяк призвал Лопарева вязать Мокея, Лопарев наотрез отказался:

– Или тебе жаль крепости, Третьяк? Тогда зачем посадили на цепь Филарета?

– Не то глаголешь, барин, зело борзо! – осерчал Третьяк. – За святотатство, какое учинил в моленной избе сын Филаретов, суд вершить будем. Всем миром! На огонь поволокем гада Филаретова! Ужо устроим огневище, барин!

– А я вам говорю – не троньте Мокея! Или ты такой верующий, Третьяк, что без тех икон жизни не мыслишь?

– Мои мысли со мной останутся, барин. А тебе присоветую: не являйся на судное моление; худо будет. Праведников с веры не совратить тебе, барин!

Точно так же сказал бы сам Филарет...

Лопарев не принял участия в разбойничьем нападении на Мокея, но сразу же, как только его потащили на судное моление, долго не раздумывая, пошел в избу Третьяка.

Ефимия, конечно, не слышала, что случилось с Мокеем. Лежала высоко на подушках и горько плакала.

– Ты, Александра? – тихо спросила она. – Беда грянет, беда!.. Чую сердцем – Мокеюшка чью-то кровь прольет и сам погибнет.

Лопарев сказал, как скрутили Мокея и потащили на судный спрос.

– Третьяк с Микулой? – переспросила Ефимия. – О Матерь Божья, изгои окаянные! Не дам Мокея! Не дам сатанинскому судилищу!

Лукерья стала уговаривать Ефимию, чтобы она не вставала, но разве есть сила, которая могла бы остановить благодетельную Ефимию?

Судный огонь не занялся...

Третьяк с духовником Калистратом проклинали Ефимию, а более того барина Лопарева. Как быть с барином? Если прогнать из общины – не выдаст ли он, что в общине много беглых каторжников, а самого Третьяка давно ждет петля?

За Лопаревым установили строжайший надзор.

Ефимия, только Мокей уехал, ушла к себе в избенку, поставленную им самим, и закрылась там; даже возлюбленного кандалника не пустила к себе.

Третьяк ругался:

– Во спасение еретика поднялась с постели да в срамном виде явилась перед общиной! Али мало того, как Мокей терзал тебя шесть годов? Как изгалялся над тобой? Кого спасала? На огонь бы еретика, удавить бы, иуду!

Ефимия ответила:

– Не Бог глаголет твоими устами, дядя Третьяк, а нечистый дух, да корысть, да лихоимство.

Так оно и было. Хоть лютую крепость держал Филарет, да Третьяк с Юсковыми озирались, как бы посконники и верижники не общипали! И вот настала разминка. Третьяк взял вожжи в свои руки, мало того – золото. И немало. Филарет с Филиппом-строжайшим двадцать лет собирали: торг вели с заморскими странами, чтоб накопить много золота, потом бы ружья и пушки тайно приобрести и тогда уже из Поморья двинуться со своим войском не на Москву, а прямо на Петербург проклятый! В самое гнездо Анчихриста.

Третьяк потирал руки: благостно вышло! Сундучок золота у него в руках. Калистратушка пусть носит крест золотой: четыре фунта! Немало. Хватит духовнику. Сумел бы с толком распорядиться крестом. А вот сундучок тяжелехонек. Община пока что в смятении – тридцать три дня минуло после того, как свергли Филарета. А вдруг потребуют: отдай, Третьяк, общинное достояние! «Зело борзо! Мешкать никак нельзя. Богатство-то экое!» А тут еще Ефимия заперлась в Мокеевой избушке. Что она задумала? Не поджидает ли Мокея? А вдруг Мокей явится ночью, да с ружьем и топором, застигнет врасплох Третьяка с Калистратом, сведет в кучу, ударит, как горшок о горшок, и дух вон!

«Умыслила, умыслила, болящая», – стонал Третьяк, успев ополовинить общинное достояние из кованого сундучка. Поговорил с Калистратом, и установили караул возле Мокеевой избушки. Четырех посконников ставили ночью, трех – от зари до зари.

В двух крохотных оконцах Мокеевой избушки ночами не гасли свечи. Под оконцами – старая рябина, и на ее ветках, склонившихся к окошечкам, играли световые блики, отчего листья казались серебряными.

– Сколь свечей-то пожжет, болящая, – крихтел жадный Третьяк. Потом спросил у Марфы Ларивоновой: много ли свечей в избе Мокея?

– Да весь воск там, – сказала Марфа.

– Много ли воску?

– Пуда три али четыре. Мокей сам притащил тот воск из города Тюмени.

Третьяк схватился за голову: три пуда воска! Богатство-то какое! Попробовал отобрать воск, но племянница не открыла дверь.

– Воск Мокеев и мой. И рухлядь в избе Мокея и моя.

– Общинное! Общинное! – тужился дядя Третьяк.

– Тогда и твоя рухлядь, дядя, общинная. И воск у тебя общинный. Пуда два будет. Сама видела. Отдай свой воск и рухлядь всю, и я отдам свой воск и рухлядь всю.

Такого отпора Третьяк не ожидал от племянницы.

– Блудница, нечестивка, – ругался он, жалуясь Калистрату. Вот, мол, спасли ее от погибели, от сатаны Филарета, а она тут же отрыгнула благодать и заперлась в избе мучителя. – Поджидает зверя, ехидна! Ежли явится, заглотит пули, тать болотная!..

Третьяк и Калистрат успели забыть, что если бы Ефимия назвала их имена на судном спросе, давно бы им не топтать землю. Теперь, оказывается, они спасители Ефимии.

III

Калистратушка бороду холит да в Юсковом становище пироги жрет. Апостолов-пустыльников, учинявших тайный суд при Филарете, прогнали из общины: «Ступайте странствовать, яко праведники Иисусовы». И те, как ни тягостно было покидать общину, накинули котомки на плечи и подались на все четыре стороны.

Верижников и тех Калистрат обжал: «Богу молитесь, а за топоры беритесь». И повелел пилить дрова в соседней роще, чтоб всем избам хватило на зиму.

Третьяк правил хозяйством. До Третьяка главенствовал сам Филарет с Ларивоном, а тут, на тебе, хитрущему Третьяку Калистрат передал вожжи. Известное дело: Третьяк Юсковых не обойдет, мошну набьет, лучшие куски сожрет, а других морозить будет, поститься заставит да еще холопами сделает.

Беда, беда!

Старики наведывались в избу к Филарету, да тот ополоумел будто. Глядит, слушает, а у самого рот набок и звуки вылетают бессловесные. Глагола лишился. Ларивон примолк, погорбился и покорно гнул хрип на общинных работах.

По избам и землянкам смятение. Не стало крепости Филаретовой! Блуд, блуд. Еретики объявятся и веру порушат!..

Роптали и молились за старца Филарета, чтоб Бог послал ему глагол и силу, как в Поморье, чтоб огнем пожечь Юсковых с Третьяком и Калистратом.

Парни с белицами игрищами тешились да еще и песни украдкой пели. Слыхано ли? «Там, где веселье, там и Сатаны раденье».

Ходоки с Енисея: Поликарп Юсков, Варласий Пасха-Брюхо, прозванный так за обжирание пасхальными куличами, сказывали про Енисей, где остались одиннадцать ходоков обживать место: «Места на Енисее как наши поморские. И лесу красного – видимо-невидимо, и река огромная, и рыбы много, и паче того – зверя в тайге».

Вольной волюшки – хоть захлебнись.

Верижники приступили к Калистрату: ехать, мол, надо на Енисей, там и Беловодьюшко для спасения душ.

Но как же ехать, глядя на мокрую осень и на зиму?

– Ехать, ехать! – орали верижники. Им-то что: встал, встряхнулся, в мокроступы обулся – и все сборы.

Третьяк образумил:

– Зимовать где будете? Со еретиками-щепотниками в деревнях? Али под небом да под снегом? Не подохнете ли, яко тараканы? На Ишиме в землю зарылись, землянки да избушки понастроили, ячмень в землю усы клонит, пшеница на сорока десятинах стеной стоит. Бросить все али огнем пожечь?

Остались зимовать.

В сухую погоду, до того как подошел ячмень, поморские круглые копны сена перетаскивали на волокушах к скотным притонам, а для дойных коров устроили навесы из жердей. Все мужики и подростки работали от темна и до темна. Более двухсот коров в общине да столько же лошадей. Было за тысячу коров, да в Перми сожрали.

Третьяк с верижниками Гаврилой и Никитой ездили в большое село на тракте, продали там сырые и выделанные кожи, отмятые овчины, масло и закупили у тамошнего купца сахар, крупу разную, железо для кузницы и кто знает что еще. Узнай у Третьяка!

Время подоспело осеннее, переменчивое. То дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет.

Лопарев прилепился к Микуле – водой не разлить. И в кузнице работают вместе, и ляды точат, и брагу пьют. Общинники роптали: не вышло праведника из барина. И руки белые, и говор не мужичий, и про молитвы, должно, ни разу не вспомнил, если только знал их. При Филарете так бы не было: старец не терпел белокожих еретиков.

Ефимия тем временем отсиживалась в Мокеевой избе, и кто знает, что она там делала! «Сорокоуст справляет», – говорил Третьяк.

IV

Настало утро сорокоуста...

Третьяк собирался ехать в город Ишим и позвал к себе Калистрата, Микулу и Лопарева.

Лукерья отварила по-башкирски барана и подала его на серебряном подносе царской чеканки и росписи. Лопарев догадался: не иначе как из кремлевской добычи поднос, как и кубки для вина.

Вместо лавок – кованые сундуки.

Из серебряных кубков вино пили, не брагу, серебряными ложками юшку хлебали и серебряными вилками мясо в рот тащили.

Для поездки в город Третьяк вырядился в плисовые шаровары, в красную рубаху под широким ремнем на чреслах, и поддевку Лукерья достала суконную, отменную, бог знает с чьих плеч стянутую. Калистрат и тот преобразился. Власяницу из конского волоса давно сбросил, а надел из черного плиса рубаху с широкими и длинными рукавами, шитую на манер боярских. Золотой крест на цепи так и сверкал на черном плисе.

Верижники Никита и Гаврила, едущие в Ишим с Третьяком, потчевались отдельно. Лукерья соорудила для них стол на перевернутой кадушке, застланной дорогой скатертью.

За такой-то трапезой и застала гостей у Третьяка племянница Ефимия.

В суконной однорядке с перехватом у пояса, в черном платке, повязанном до бровей, с большим глиняным горшком в руках, Ефимия быстро и резко взглянула на всех от порога, как кипящей смолой окатила, и, поклонившись в пояс, молвила:

– Есть ли кому аминь отдать?

– Спаси Христос! – подхватил Третьяк, ответно кланяясь. – Слава Иисусу – милости сподобились. Думал, запамятовала про дядю-то, зело борзо.

Ефимия открыла горшок поминальной кутьи и зачерпнула деревянной ложкой отваренную пшеницу:

– Помяни, дядя, убиенного сына мово Веденейку в нонешнее сорокоустное утро.

– Господи помилуй, запамятовал. – Третьяк размашисто перекрестился.

– Дай ложку – кутью положить. – И опять Ефимия будто черным хлыстом стегнула по упитанному и потному лицу Калистрата, по медной бороде Микулы и по пунцовому, отдохнувшему от невзгод лицу Лопарева и как бы невзначай глянула на стол, полный яств и вина.

Третьяк принял кутью в свою ложку. Лукерья тоже взяла и на два серебряных блюдца попросила положить кутьи для дочерей, которых не было в избе.

Под Лопаревым будто горел сундук – до того ему было стыдно. А ведь знал: в сундуке украденное общинное богатство спрятано. И все-таки он не в силах был оторваться от сундука. Сколько же спокойного презрения было во взгляде Ефимии! Так смотрят святые на великих грешников, перед тем как спровадить их в геенну огненную.

– Ты ли здесь, Александра Михайлович, который приполз к нам в общину, в цепи закованный?

Лопарев едва продыхнул стыд:

– Я, Ефимия, – и вышел из-за стола.

В глазах Ефимии – кружевной узор затаенной обиды и горечи.

– Прости меня, грешницу. Не признала тебя. Помянешь ли сына мово Веденейку, удушенного под иконами руками праведников Иисусовых? Ты же не сидел в ту ночь на судной лавке, помянуть без злобы можешь. Ты же не ходил за Веденейкой в избу Ларивона, помянуть можешь. Глаза твои не зрили, как два кровожадных коршуна исполняли волю сатаны и три коршуна зрили то убийство с судных лавок, помянуть можешь! Ты же не вырвал посох из рук сатаны, когда над твоей головой закружилась черная смерть, и не ты кинулся спасать свое тело лютой хитростью! Не ты заставил апостолов петь тебе аллилуйю и не повесил себе на шею золотой крест сатаны. С тем крестом Филарет смертью смерть правил. Лжецаря тащил в Москву. Хитростью хитрость покрывал; и зло было, и горе было. Не царя надо было тащить на престол, а вольную волюшку. И ты, Александра, пошел против царя, против сатанинского престола, чтоб на Руси не зрили тьмы, а было бы утро и благодать. И за то заковали тебя в цепи. Помянешь ли сына мово Веденейку, праведник?

У Калистрата глотка пересохла и с лохматых бровей соль стала капать – до того он взмок.

Третьяк не посмел перебить племянницу, но готов был сожрать ее вместе с глиняным горшком паршивой кутьи. «Оглагонала, оглагонала духовника, паскудница!»

Хоть Ефимия не назвала имени Калистрата, да кому не понять, о ком реченье вела?

Лопарев взял со стола чеканенную ювелирщиком ложку, но Ефимия оттолкнула ее.

– Твоя ли это ложка? – спросила. – Твое ли здесь серебро и золото? Иль ты побывал в Московском кремле, во дворах князей Кусковых, Юрьевых, Скобелыных и серебром запасся?

У Лопарева за плечами крещенский мороз – пробирает до позвоночника, до ребер.

– Прими кутью из моей ложки. – И поднесла сама ложку пшеничной каши. Лопарев быстро перекрестился... щепотью и сказал, что пусть душа Веденейки возрадуется в Царствии Божьем.

– Благодарствую, дядя, за поминки сына мово Веденейки.

– Нехорошо так, Ефимия, – остановил Третьяк, – от солнца глядишь, зело борзо.

Ефимия сверкнула черными глазами:

– Или в одной твоей избе солнце, дядя? Оно и у меня бывает, и по всей общине. Люди-то роппут, слышал? И мукой обделяешь, и крупой, и мясом, и хороших коров раздал по богатым посконникам да себе под начало взял. Ладно ли так? Общиною живем, а у тебя вот на столе и яства, и вина, и сахар, и мед, и хлеб белый. Откель?

Третьяк готов был треснуть от злобы.

– Кабы не племянница ты мне...

– Огнем сожг бы? Али ножом зарезал?

Третьяк попятился от такого удара.

– Бесстыдно так глаголь, Ефимия! Я те отец опосля отца. А ты!.. Спаси Иисусе! Болящая ты. Не от души реченье твое, а от болести. Прощаю то, зело борзо.

У племянницы передернулись пухлые губы.

– Али ты хошь приравнять Третьяка с голопузыми посконниками, которые жрать умеют, а на работу пуп болит? Общинное делим по разумению. Третьяку – долю Третьяка. Микуле – Микулину. Лодырю дам – лодырную. И того много.

– Хлеб-то общинный, дядя. И скот общинный.

– Дык што? Да не все люди одинаковы, говорю. А яства и вина на столе моем не общинные. На рухлядь свою выменял у купца. Также вот.

– Грешно, дядя, об одной оглобле в рай ехать.

Третьяк с остервенением плюнул.

– Худая та птица, зело борзо, которая гнездо свое марае.

– Худая, дядя, худая, – поклонилась племянница. – Та птица коршуном прозывается.

Повернулась и пошла к двери.

– Погоди, благодная! – поднялся Микула. – Меня-то за што обошла кутьей? Али я душил Веденейку? Али воссочувствовал душителям?

Ефимия обернулась с порога:

– Вопль Акулины с младенцем слышу, дядя Микула. Вовит Акулина-то, вопит. Со чадом вопит. На небеси вопит! – Ефимия ткнула пальцем вверх. – Может, вспомнишь, дядя Микула, кто помогал Ларивону тащить Акулину с младенцем на огонь, и смерть стала? Вспомни да прокляни того мучителя. Радость тебе будет!

И – хлоп дверь. Серебро зазвенело...

Микуло не сел – упал на сундук.

Лопарев быстро оглянулся и тоже – за дверь.

Калистрат вытер рукавом пот с горбатого носа и, опустив глаза, увидел на черном золотой Филаретов крест, икнул и перекрестил рот.

Молчали.

Верижник Гаврила вдруг вспомнил:

– Барин-то щепотью крестился, когда кутью ел.

– Кукишем, кукишем! – подтвердил Никита.

Третьяк рад был сорвать зло на Лопареве:

– На барина понадейся – на веревке будешь али цепями забрякаешь, зело борзо. В общине проживает, а голову набок держит. Как-то будет опосля?! Уйдет из общины да заявится ко губернатору с повинной: вяжите мол да милуйте, из побега возвращаюсь с прибылью! Возьмите, скажет, сотню казаков, поезжайте в общину, и там пятьдесят семь каторжных скрывается, зело борзо. Сыскные собаки не взяли, а я вот, скажет, один всех накрыл. Хвально то будет. Хвально.

Каторжники Микула, Гаврила, Никита вытаращили глаза на Третьяка, переглянулись, будто сами себя увидели в цепях.

– Господи помилуй! – помолился Микула.

– Спаси Христос! – помолился Никита.

– Господи прости, я про то не раз думал, – помолился Гаврила.

Третьяк зло рявкнул:

– «Думали»! Не думать, а по-Божьи надо: сатанинское – Сатане спровадить, зело борзо. Понимающе притихли...

V

– Прости меня, Ефимия!

– За что прощать? Али ты свое серебро разложил и сам себе гостей выбрал на праздничную трапезу?

– Ты – святая!

– Если бы я была святая, не так бы отпотчевала. Я бы дядю параличом разбила. И руки и ноги отняла бы. Чтоб он лежал на своих сундуках и не зрил, как свинья, неба!.. Тяжко на душе моей, Александра, когда вижу, как правит хозяйством Третьяк. И как он прибрал общинное золото. Сколько того золота, ведаешь? Сундучок видел? Более трех пудов золота в том сундучке! Филарет с Филиппом-строжайшим народ мытарили. Поморцев, рыбаков, пустынников гоняли за данью на Волгу и в Сибирь, чтобы скопить то золото, а потом на восстание поднять народ. На доброе дело копили, а коршуну в руки досталось, слышь. И тот коршун – дядя мой. Легко ли?!

– Как же быть?..

– Не ведаю. Ни умом, ни сердцем. Молюсь, молюсь, а тяжесть лежит на сердце. Еще буду молиться. До той поры, пока не настанет просветление.

– Ты и так за эти сорок дней столько молилась, что просто страшно. Надо подумать да поговорить с народом.

– Ох, Александра! Народ-то темный, забитый. То Филарет мучил и страшал, то хитрый Калистрат увещевает и тьмой глаза застилает.

– Тогда... уйдем из общины. Нельзя жить вот в такой малой общине, оторвавшись от всей жизни. Надо жить со всем народом, со всем светом.

– Не будет того!

– Но почему? Почему?!

– Община наша – спасение от мирской скверны. От царской и барской неволи. От царских судов и каторги. Нету, Александра, вольной воли за общиною. Али ты не в цепях приполз? Кто заковал тебя в цепи?

– Не все же в России закованы в цепи...

– Не все, не все! Потому – смирились и силу свою во зло себе обратили. Развратом живут, блудом, пьянством да лихоимством. Иные по избам-клетям прячутся, как раки в речных норах. И то жизнь? И то вольная волюшка?!

– Неправда, Ефимия. Клянусь девятью мужами славы!.. Я знал в Петербурге людей благородных и высоких в деле. Я встречал Пушкина – стихотворца. Если бы ты знала, какие он стихи пишет! Есть честные люди в войске, в гвардии, в мореходстве. Да мало ли где!

– Не для меня то, Александра.

– Почему?

– Я кровью своей поклялась на греческой Библии, что никогда не уйду из общины. Словом, разумением своим, как умею, буду помогать бедным людям.

– Амвросий предал тебя!

– Не предал, не предал! Имя мое назвал в соборе. Как назвал? Не знаю. Пытку не перенес и назвал. Но не во зло мне. Кабы во зло, отрекся бы от еретичества и сидел бы в каменном подвале. А его сожгли и пепел развеяли по морю, значит не отрекся. И я не отрекись от своей крови.

– Не знаю, что тебе сказать. Вижу, так жить нельзя. Сама подумай: уйдете в тайгу, и будет та же крепость, как при Филарете. Сейчас Калистрат и Третьяк, а потом...

– Молиться буду, молиться! И Бог пошлет мне просветление. Верю, Господи! Верю!..

А Лопареву послышалось: «Не верю, не верю! Есть ли ты, Господи?..»

– Пойдем, погляди, как люди живут...

Спустились в землянку. Спертый затхлый воздух, и сумерки среди бела дня. Вместо двери – камышовый полог вполроста. Лопарев вдвое согнулся, пролезая в землянку за Ефимией. Ни лежанки, ни рухляди. Сразу от порога – дымная печурка. Сверху – дыра в накатном потолке, чтобы дым из печурки выходил на волю. На умятом сене – пятеро малых полуголых ребятишек, девочки или мальчики, не разглядеть впотьмах. Три сколоченных плашки вместо стола. Чугуны, пара кринок, краюха углистого хлеба, состряпанного вместе с охвостьями и землей.

Старуха и молодая баба упали на колени:

– Благостная, благостная!

– Что же вы на коленях? Сколько раз говорила!.. – Ефимия назвала по имени и отчеству старуху и молодую бабу в поскони и, открыв горшок, угостила кутьей.

Помянули Веденейку.

Ефимия спросила:

– Хлеба-то у вас, видно, нету?

– Есть, есть, благостная! Слава Богу.

– Напополам с землей?

– До нови, до нови терпеть надо.

– Молоко берете от общинных коров или у вас на семью корова?

– Нету молочка-то. Нетути. Батюшка-хозяин сказал: масло копить надо для торга.

– У вас же была корова?

– На общину взяли. Батюшка-хозяин повелел.

– У вас же мужик и два парня. Где они?

– Сено мечут у пригонов.

– Господи! Разве на таких харчах можно работать?

– Отчего ж, благостная? Сила-то не от харчей, а от молитвы. Молюсь вот. Денно и ночью, – тараторила старуха.

Лопарев погорбился от ужаса. Какая же неопишуемая покорность и смирение! «Так повелел батюшка-хозяин!» Третьяк, значит.

И в следующей землянке то же самое. Сумерки, хламье и нищета беспросветная. Вместо старухи – болезненная баба да трое ребятишек, один другого меньше. Такой же крохотный столик, краюшка землистого хлеба и надрывный, чахоточный кашель хозяйки.

– Ну а мужик где?

– На общинной работе, благостная.

Лопареву послышалось: «На барщине». Не у помещика Лопарева, а у злодея Третьяка!..

И еще одна землянка, и еще... Нищета, нищета. Сумерки. Забвение и молитвы. Рабочая покорность.

– Я больше не могу, – отказался Лопарев от пятой землянки. – Не могу, не могу! Это же, это же кошмар! Нищенство!

Ефимия печально вздохнула:

– Нищенство – не грех, коль все нищи. Да не все в общине худо так живут – то грех. Одним – три куска. Говорят, мало! Дай еще три. Другим – ни одного, не ропщут, молятся...

Заглянула в горшок – кутьи осталось на доньшке.

– Пойдем, Александра. Есть еще одна изба, куда мне не пойти одной, ноги не понесут. А идти надо.

Ефимия молча повела к берегу Ишима и свернула к избе Филарета.

– Да ты что, Ефимия! – остановился Лопарев.

– Надо. Надо. – И подошла к сенной двери. Толкнула – дверь закрыта изнутри. Лопарев двинул в дверь ногой, и тогда кто-то вышел в сенцы.

– Кто там?

– Это ты, Лука? Открой мне, Ефимии. Иду с поминальной кутьей.

– Кого поминаешь?

– Сорокоуст по убиенному Веденейке.

Молчание. Верижник, наверное, думает: открыть ли?

Лопарев еще раз толкнул ногой дверь.

– Батюшка Калистрат наказал, чтоб я никому не открывал. Помяну Веденейку без кутьи.

– Али ты еретик, Лука?

– Пошто еретик? Пустынник.

– Как ты мог запомнить, пустынник, что перед поминальной кутьей все двери открываются настежь? И кто дверь не откроет, тому всесветное проклятье, яко еретику. Открой сейчас же! Или я подниму всю общину и выставлю тебя на судный спрос как еретика.

– Иисусе Христе! – перетрусил Лука. – Погоди маненько, благостная. Я сейчас!

Ждали долго. Лопарев со всей силы начал бить в дверь. Лука наконец вернулся и, чуть приоткрыв дверь, протянул глиняную чашку для кутьи.

Ефимия отстранила чашку.

– Старцу нес поминальную кутью, – сказала и рукой толкнула дверь. Лука попытался закрыть, но Лопарев нажал и оттеснил Луку.

И каково же было удивление Ефимии, когда на лежанке верижника Луки она увидела мордастую, льноволосую, не первой молодости вдовушку Пелагею!

– Ах ты, блудливый кобель! – накинулась на Луку. – Такой-то ты пустынник? Среди бела дня да в покаянной избе, где людей жгли железом и смертью пытали!.. Чтоб глаза твои треснули, козел ты бородатый! Для святой кутьи двери не открыл, а блудницу на постель положил!

Лука бух на колени да к ногам Ефимии:

– Помилуй меня, грешного! Околдовала меня блудница, околдовала. Крестом не отмолился и батоном не отбил!

– Врет, врёт, кобелина! – подскочила Пелагея. – Сам заманил меня, штоб я зрила, как он будет беса гнать из сатаны Филарета.

Только сейчас Ефимия взглянула на Филарета. Не признала даже, до того старик переменялся. Будто ссохся за сорок дней – кожа да кости. Сидит на лежанке сгорбившись и неотрывно глядит на Ефимию. Что было в его взгляде? Страх ли? Отчаяние? Или позднее раскаяние в злодеяниях?

– Беса гнал? – не поняла Ефимия.

– Гнал, гнал! – застегивала Пелагея кофту. – Плетью лупил да приговаривал: «Алгимей, алгимей!»

На столе ременная плетъ.

Ефимия взглянула на пять большущих костылей в стене. Давно ли она висела на этих костылях и Филарет с апостолами терзал ее тело, плевал в душу?

Три шага. Всего три шага до лежанки старца! Но как тяжело пройти три таких шага!

Железная цепь. Руки Филарета в рубцах и кровавых полосах. И на лице такие же полосы. Не чуя под собою ног, Ефимия подошла вплотную и взглянула на согбенную спину старца. Вся посконая рубаха запеклась от крови. Не сегодняшней, давнишней. Вот как обернулась для Филарета его собственная крепость!..

Ефимия хотела сказать Филарету, что она прокляла его, и пусть он отведаст кутьи по удушному внуку, и пусть кутья застрянет у него в горле. Но ничего не сказала.

– Батюшка Калистрат повелел лупить, – оправдывавался Лука. – И Третьяк также приходил и лупил сатану. И чтоб я кажинный день споведывал мучителя.

– Мучителя? – У Ефимии задрожали губы. – Все вы треклятые мучители! И нету у вас ни совести, ни сердца, ни души! Сатано вас породил на белый свет, и сгинете, яко не бывши. – И ткнула пальцем в грудь Луки. – Пусть тебя на том свете так же лупщуют бесы, как ты...

И, не досказав, быстро ушла из избы, так и не угостив никого кутьей.

В избушке Ефимии гостевали старухи – поминали Веденейку.

Лопарев поклонился старухам, остановившись возле порога.

Стены избушки увешаны сухими целебными травами. Глинобитная маленькая печь, сработанная Мокеем, ухваты, кочерга, чугуны, медный самовар, чайник, глиняные кринки. Пол застлан ковыльным сеном, а поверх сена – самотканые половики. На лежанке гора пуховых подушек, цветастое одеяло, на крючьях зимние шубы.

Войдя в избу, Ефимия молча сняла иконку Богородицы с младенцем, поклонилась старухам:

– Благодарствую за поминание сына моего Веденейки. А теперь ступайте. Я молиться буду.

Старухи ушли.

Она будет молиться! До каких же пор? С ума сойти можно!

– Послушай меня, Ефимия!

– Не говори, не говори. В душе у меня черно и камень лежит. Нету силы жить, Александра. Нету! Зреть народ во тьме да в забвении тяжело. Тяжко! Не зри меня. Ступай.

Она была, как мечта, вся из противоречий. Ее нельзя было судить, как не судят малое дитя за послушание.

– Ефимия!..

– Поцелуй меня и ступай.

Лопарев схватил ее, прижал к себе и все целовал, целовал в щеки, в глаза, в губы, куда попало. Иконка упала на пол.

– Пусти, пусти! Богородица Пречистая, помоги мне!

– Я не оставлю тебя. Не оставлю. Довольно молитв. Хватит! Жить надо. Жить, жить! Вспомни, какая ты была в роще. Тогда ты вся светила, как солнце!

– И солнце в тучи заходит.

– Не вечно же оно бывает в тучах?

– Не вечно. Может, и на моей душе настанет просветление. Погоди.

– Вместе будем ждать. Я же муж твой. Ты же сама сказала, что я муж твой. Или забыла?

– Нету покоя на сердце, Александра! Нету. Одной надо побыть. Не хочу, чтобы ты зрил меня в смятении да в тумане. Пусть я для тебя буду всегда как небо без туч.

– Тогда не гони меня.

– Не буду гнать, не буду. Только дай мне отстоять всенощную молитву.
– Нет, нет, нет!
– Молю тебя, дай мне одну ночь! Одну ночь! На теле моем сошли коросты от огня, и рана зажила от посоха сатаны, а в душе раны кровью точат. Те раны закроются, если Богородица Пречистая услышит мою молитву.
– Ты же столько молилась, а разве она услышала?
– Услышит, услышит!
– Будем вместе молиться. Вместе!
– Нет, нет, нет! Нельзя молиться вдвоем, коль души разные. Ищу я, ищу, а чего – сама не знаю. И нет мне покоя. Ты видел, как люди по землянкам живут? В коростах, голодом и холодом, а дядя Третьяк обжирается да бедных мытарит. Такую ли я крепость просила у Господа Бога, когда на костылях прокляла Филарета-мучителя?
– Есть одно спасение – уйти из общины. Послушай меня...
– И не говори! Не совращай, Александра. Или ты сам от Сатаны родился? Как я могу уйти, если кровью поклялась? И как уйти от бедных людей, которым я помогаю лечением? Неможно! Нет, нет!
– Если ты поднимешься против Третьяка и Калистрата, они убьют тебя, Ефимия. Неужели ты этого не видишь?
– Не убьют! Не убьют! Разве убил меня Филарет? Огнем жег, посохом ударил, да мимо!.. А что теперь? Сам в рубцах и в крови. А я живая. И жить буду. Дай мне одну ночь. Одну только ночь!
– Если ты меня сейчас прогонишь, я пойду, подниму общинников и скажу, что Третьяка с Калистратом надо прогнать из общины.
– Ой, ой! Что ты! Никого, никого не поднимаешь, а сам себя погубишь. Нельзя так.
– А как надо? Как?
– Не ведаю. Буду молиться.
– О!..
– Не мучай меня, жену свою. Дай мне одну ночь.
– О!..
И, как пьяный, вышел из избы.
Долго стоял на берегу Ишима. Чужой он, чужой в общине. И никогда не сумеет быть своим для таких вот темных и забытых людей. И даже Ефимию не понимает.
«Уйти мне надо. Уйти!» Но куда?!

VI

Попутный ветер толкал Мокея в спину да насвистывал: «Сибирь, Сибирь!»
– И без того ведомо: Сибирь. Да не пропаду, может?
Ехал, ехал – и все один на тракте. Пустынность. Под вечер показался встречный обоз. На телегах везде тюки с шерстью, навьюченные под бастрики. В каждой телеге пара лошадей. Мокей поздоровался с купеческими обозниками и попросил воды.
– Эко! Угораздило тя, – миролюбилио проворчал усатый мужик с бритыми щеками и крикнул первой подводе: – Попридержи, Захар! Человек воды просит.
Обоз остановился. Усач налил из лагуна воды в медную кружку и подал Мокею. И все это без креста и спроса, не то что в общине батюшки Филарета.
– Далече едешь, паря?
– На Енисей-реку.
– В тридевятое царство, можно сказать! А мы вот, паря, из Ишима тянемся на Тюмень. На ярманку поспеть надо. Ноне багатующая ярманка будет.

Что за ярмарка? Мокей не знал. Думалось, вся Сибирь голая как ладонь да каторжная. А вот тянется обоз из Ишима на осеннюю ярмарку.

Вспомнил, как ехал с единоверцами ходоком на Енисей и далеко объезжали сибирские городишки, чтоб не опаскудиться среди щепотников. Изредка навевались в деревни за хлебом и мясом и то боялись как бы не оскверниться. А ведь и в городах люди живут, только без свирепости, без огня. «Филипп-то как пожег единоверцев!» И будто перед глазами поднялось языкастое пламя сосновых срубов, и оттуда, из огня, несло радостное песнопение...

Как же так? Одни живут вольно, походя не крестят лоб, не творят всенощных служб и не думают, что они великие грешники и что им уготована геенна огненная; другие сами себя терзают, носят вериги, орут о спасении. А от кого спасаться?

Как осенние листья падают с дерева, так постепенно Мокей отряхивал страхи Господни, запреты, жадно приглядываясь к людям.

Долго гостевал в Ишиме – малом деревянном городишке на бойком тракте.

На постоялом дворе Мокей спал под санным навесом со щепотниками, кои кукишами крестились, табак смолили, аж дым из ноздрей валил, и в Бога ругались до того отчаянно и срамно, что у Мокея дух захватывало.

От общения с проезжим текучим людом у Мокея голова кружилась: до чего же разный народ проживает на белом свете! И татары, и киргизы, и чалдоны, и все текут, бурлят, каждый разматывает собственную жизнь, нимало не беспокоясь: угодно ли то Иисусу. Или он морду отворотил от такого народа?

Заглянул Мокей в киргизскую харчевню. Дивился, как люди в теплых бешметах жрали барана на большущем медном блюде, хватая мясо руками, и сало текло им до обнаженных локтей. Табак жевали и тут же плевались на пол. Срамота! А живут же, живут!

«Нету Бога, нету! – оседало решение, и Мокей, обретая новую силу, не знал еще, куда ее употребить. – Кабы подружия Ефимия со мной, и Сатано не одолел бы нас!..»

Но подружии Ефимии не было.

VII

Под вечер в субботу на постоялый двор заехал ночевать обоз омского купца Тужилина на пятнадцати подводах. Всю ограду забили телегами с кладью да еще три телеги остались на улице возле ограды.

Красномордый купец в яловых сапожищах по пахи, в суконной поддевке под красным кушаком шутки ради вызвал охотников бороться и четырех мужиков положил на лопатки.

– Налетай, теребень кабацкая! Спытай силушку! – куражился купец, бритощекий и бритосый.

Мокей посмеивался себе в красную бороду: поборол бы купчину, да вот беда – обличность у купца бабья.

Купец и сам заметил Мокея возле крыльца:

– Эка бородаща огненна! Не хошь ли силушку спытать? Поборешь – рублем одарю. Не поборешь – нужник заставлю чистить.

Купеческие возчики с подрядчиком и постоялыми людьми тормозили Мокея: спытай, мол, не под бабой лежать!

«Сатано в искус вводит, – думал Мокей, – али я убоюсь нечистого? Отринул самого Бога и нечистого такоже отрину!»

Купец наседавал:

– Ай-я-яй, борода! Плечищи-то эвон какие, а силушка мякинная, што ль?

Долговязый подрядчик в поддевке верещал в самое ухо:

– Не бойся, мужик. Гаврила Спиридоныч жалостливый – не убьет небось. Полежишь маленько на лопатках, а нужник ночью почистишь. Чаво там! Плевое дело.

– Спытай, паря! Спытай! – подталкивали купеческие возчики.

Купчина махнул рукой:

– Ладно, борода! Не будешь нужник чистить. Дам тебе урок: на Ишим за водой с ведрами на коромысле сходишь, бабье дело справишь.

Мокей решил: если Сатана вызывает на бой, ничего не поделаешь, надо помериться силой. И вышел на круг. Боднул купца глазами:

– Обличность у тебя бабья, купец. Хоть бы усы сберег, чтоб зрить: не с бабой ли буду бороться?

Возчиков смех прошиб.

Купчина рявкнул:

– Чаво ржете, мякинные утробы? А ты, борода, погоди зубоскалить. Погляжу на тебя, как ты под бабой ногами сучить будешь!..

– Не замай! – остановил Мокей. – Ты дал урок, теперь мой урок слушай. Веруешь в Бога?

Купец вытаращил глаза:

– Давай бороться, а не ляды точить.

– Скажи наперед: веруешь в Бога али нет?

– Ну верую! – И купец перекрестился... двоеперстием!

Мокей испуганно отшатнулся: «Единоверец! Мыслимое ли дело? Бритощекий и бритоусый! На постоялом дворе – да в единоборство со щепотниками?»

– Али ты старой веры?

– Твое которое дело, какой я веры? Моя вера самая праведная.

Мокей глухо проговорил:

– Тогда пускай тебе, купец, твоя праведная вера поможет на спине не лежать. А я тебя без Бога бороть буду, слышь?

Мужики притихли: к чему речь такая? Бога-то не надо бы трогать.

Купчина не сразу сообразил, что ему сказал бородач.

– Как так без Бога? Или нехристь?

Мокей чуть призадумался: кто же он теперь, отринувший Бога? Как ни суди, а крещен на самой Лексе.

– Хрещен, да... отринул, – натужно вывернул Мокей. Врать он не сподобился. Что думал, держал на сердце, то и на язык ложилось. Голышком шел по миру, глядите, мол, весь тут.

– Кого «отринул»? – донимал купчина.

– Бога.

Мужики возле телег испуганно забормотали. Шутейная борьба, а разговор-то вышел не шутейный. Безбожник объявился на постоялом дворе.

– Бога?! – собрался с духом купец. – Да ты татарин али хто?

– Не зришь, что ль? Русской, а веры был старой, христианской, какая опосля Никона в Поморье да в скитах сохранилась. Да я отринул то. Веру, и Бога, и самого Исуса. Как не бымши.

– Хто «не бымши»? – тарасился купчина.

– Исус не бымши. И Бог такоже. Придумка книжников да глагол верижников, какие умом рехнулись. Вот и побори меня, купец, да не один, а с Богом, со Исусом, в какого веруешь, хоша и бороды у тебя нету. Бабья образина-то. А я без Бога положу тебя, знай!

Мужики глухо проворчали: шутка ли – изгальство над Богом над Исусом Христом (для них не Исус, а Иисус)! Кто-то сказал, что надо бы проучить рыжую бороду да пинков надавать из огады. Купца тоже пробрало до костей. Озверел.

– Без Бога, гришь? Без Иисуса? – И, оглянувшись на мужиков, призвал: – Будьте свидетелями, православные христиане! Биться буду с безбожником смертным боем. Слышали, как он святотатствовал? Кто экое потерпит?

– Бить, бить надо!

Мокей ничего не понимал. Только что собственными ушами слышал, как ругались и в Бога и в Мать Богородицу, и вдруг все ополчились на него, как на волка.

– В Бога материтесь, а за Бога...

Мокей не успел досказать – купчина ударил в скулу. Чуть с ног не слетел.

– Лупи его, Гаврила Спиридоныч! Лупи!

– Смертным боем безбожника...

– Под сосало ему, под сосало! – орали со всех сторон.

На крыльцо из постоялого дома и из трактира на верхнем этаже выбежали сенные девки, целовальник, заезжий лабазник, трактирщик, и все они подбадривали купчину Гаврилу Спиридоныча, чтоб он проучил смертным боем бородастого безбожника.

VIII

И пошло, завертелось, закружилось возле крыльца!..

Схватились грудь в грудь, отскакивали, снова сплывались, хватали друг друга за глотки, но держались на ногах.

Мужики со стороны, особенно возчики и приказчик, поддакивали купцу Гавриле Спиридонычу, готовые сами ввязаться в драку и отбить почки и внутренности безбожнику. Со всей улицы сбежался народ к постоялому двору. Глазели, дивились, возгораясь жаждой настоящего смертоубийства. От одного к другому, как по веревочке, несло, что купец бьется смертным боем с безбожником, какого свет не видывал.

Мокей собрал всю свою силушку и сноровку в драках, чтоб не поддаться купчине, а положить бы его на лопатки без кровопролития да прижать к земле, чтоб он пришел в сознание.

– Без Бога, гришь? Не бымши, гришь? – осатанел купчина и, изловчившись, ударил Мокея в нос и в губы – кровь брызнула. Заехал, как кувалдой. И тут терпение Мокея лопнуло. Ахнул купчину в скулу – челюсть вывернулась. Падая, купец ударился затылком о железную чеку возле ступицы заднего колеса телеги и руки раскинул.

– Убивство! Убивство, православные! – заорал приказчик.

– Сусе Христе! Сусе Христе!

– Станового позвать! Станового!

– Вяжите разбойника!..

Мокей отпрыгнул к телеге, возле которой лежал купец, крикнул:

– Не я лез с кулаками, али не зрили?

Кто-то запустил половинкой кирпича. Мокей успел уклониться и кирпич угодил в купца – башку проломил.

Приказчик успел достать ружье, или ему кто подал, Мокей того не знает и не сообразил даже, что было прежде: грохот ли выстрела или сильный толчок в правое плечо.

Выстрел из ружья образумил всех...

Сенные девки, подобрав длинные сарпинковые юбки, с визгом побежали на второй этаж постоялого дома, а за ними – лабазник, трактирщик, а целовальник кинулся прочь из ограды. Вскоре в ограде остались только возчики купеческого обоза и долговязый приказчик с ними.

– Шутейно, шутейно, а тут – на тебе! Смертоубийство! – бормотал один из возчиков.

– Шутейно? Али не видели, как разбойник кирпичом саданул по голове Гаврила Спиридоныча?! – подсказал приказчик, и возчики, сообразив, притихли: кирпич-то запустил один из них, свой брат.

Прислонившись к телеге, ухватившись за пораненное плечо, Мокей качал головою. Разве он зачинщик драки? Разве он ударил кирпичом? «Убивец, убивец!» – кричат. Кто убивец? Он, Мокей? Да как же это так? «Неможно то, невозможно. Напраслина», – ворочалась трудная мысль, как вдруг в ограду беркутом влетел становой пристав, усатый, как морж, и шашку из ножен, а за ним два стражника с ружьями.

Приказчик и возчики купеческого обоза одним дыхом гаркнули, указав на Мокея:

– Убивец!..

Мокей слушает и не понимает: оказывается, он сам полез с кулаками на купца Тужилина за то, что тот верующий в Бога, а он, Мокей, безбожник, потому и убил купца кирпичом. И что приказчик, защищая себя и возчиков от разбойника, выстрелил в Мокея из ружья.

– Не убивал купца! Не убивал! – проговорил Мокей, но становой пристав не стал слушать.

– Связать!..

Стражники, выставив ружья, крикнули долговязому приказчику и возчикам, чтоб те скрутили веревками разбойника.

– Неможно то! Неможно! Напраслина!

– Заррублю, собака! – И шашка станового пристава взлетела в воздух.

Мокей шагнул под шашку:

– Руби, сатано! Руби!

Пятеро возчиков с приказчиком еле совладали с Мокеем, хоть тому и подбили правую руку. Мокей отпинавался, повалил трех себе под ноги и кинулся было бежать через телеги, но его схватили, повалили между двух телег и связали.

Суконная однорядка Мокея прилипла к окровавленной рубашке. Становой пристав послал за лекарем и за урядником.

Когда явились лекарь и урядник, прежде всего подняли тело купца Тужилина, составили протокол об учиненном смертоубийстве заезжим на постоянный двор разбойником, у которого не оказалось ни подорожной, ни вида на жительство, и он не назвал ни своей фамилии и ни того, откуда и куда едет. По всем видам – чистый варнак. Потом лекарь промыл и перевязал огнестрельную рану на плече Мокея, и тогда уже стражники отвели арестованного в острог.

Если бы Мокей сказал, что он из общины поморских раскольников, переселяющихся на Енисей, тогда бы, возможно, не определили его сразу в разбойники и в беглого каторжника, по понятным причинам скрывающего свою подлинную фамилию и место постоянного жительства.

Становой пристав знал, что в семидесяти верстах от города, на берегу Ишима, остановилась община раскольников из далекого Поморья. Было предписание тобольского губернатора учредить строжайший надзор за общиною еретиков, именующих царя анчихристом и совершающих молебствия по уставу раскольников Церковного собора.

Становой пристав с урядником и стражником дважды навестили общину, разговаривали с духовником Филаретом и строго упредили, чтоб никто не отлучался от общины без его дозволения и, самое главное, поскорее бы убрались с берегов Ишима подальше от Тобольской губернии. «Отправляйся на Енисей, там места хватит для всех еретиков». Пусть, мол, раскольниками ведаёт енисейский губернатор Степанов.

И вдруг следователь Нижней земской расправы Евстигней Миных, толстенный, щекастый, с ехидными ноздрями человек, не мытьем, так катаньем лезущий в чины губернского земского суда, чтоб перемахнуть из Ишима в Тобольск, ошарашил станового пристава неожиданным сообщением: разбойник, учинивший смертоубийство, как о том показали возчики купеческого обоза, сказал, будто он «отринул старую веру, поморскую», а значит, не из той ли он общины еретиков, какая с прошлой осени поселилась на берегу Ишима?

Становой пристав замахал руками:

– Ну, батенька ты мой, перехватил, перехватил! Знаете ли вы тех космачей? Это же не люди, а бревна неотесанные. Как свалили с пней, такими в мир пошли. В сучьях, лохматыми, неотесанными дикарями. Видел я их, батенька ты мой, и скажу вам по секрету: если бы вас хотя бы на неделю оставить в той общине, вы бы пардону запросили. Да-с, милостивый государь! Сие вам не Петербург! Они бы вас утомили на всенощных молениях и раденьях, и вы бы продолбили себе лоб двумя перстами. И на коленях накатали бы вот такие мозоли. Ха-ха-ха!

Евстигней Миныч не сдавался:

– И все-таки, смею заметить, образина разбойника раскольничья. И борода, и сам этакая непроходимая дикость!

– Беглый каторжник, вот кто он, батенька ты мой, – заявил сведущий становой пристав. – Верное слово, каторжник. И если угодно, на его совести немало убийств! Обратите внимание на мешочек, в котором разбойник хранил деньги. Из какой кожи сшит, как вы думаете?

Евстигней Миныч над этим вопросом еще не задумывался.

– Из человеческой кожи, батенька ты мой. Да-с! Есть такой обычай у вечных каторжников: если они кого заподозрят в предательстве, то мало того что удушат раскаявшегося в злодеяниях, так еще живьем сдерут со спины кожу и шьют потом из этой кожи подобные мешочки. Да-с! Звери, батенька ты мой. Соболаговолите узнать, из кожи какого каторжника мешочек у разбойника. Тонкими намеками, так сказать, паче того – хитростью, Евстигней Миныч. Да-с!

Евстигней Миныч ушел от станового изрядно посрамленным и долго потом сидел в своем кабинете, разглядывая и так и сяк злополучный мешочек разбойника.

Странная штука: шкура мешочка шершавая, чуть желтоватая, пупырчатая, наподобие змеиной. Не может же быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая, изжелта? Или кожа вечных каторжан именно такая, и он, Евстигней Миныч, человек из Санкт-Петербурга, не знает еще всех тонкостей каторжанской кожи?

Делать нечего, надо установить, из кожи какого каторжника сшит мешочек, и постепенно, исподтишка попытаться, кто же он, сам разбойник? Многих ли от отправил на тот свет после побега с каторги? Один ли он орудует в Приишимье или где-нибудь у него есть разбойничья ватага?

IX

Трудную ночь провел Мокей в остроге. Мало того что правой рукой не пошевелить и плечо вспухло от раны, так еще клопы донимали. Не видывал, чтоб паскудность ползала целыми полчищами! По стенам, по голым доскам, заменяющим кровать, и сыпалась с потолка, как чечевица. Мокей отряхивал клопов с рубахи, давил с остервенением и всю ночь топтался на ногах.

Думал и про убиенного купчину. Не он же убил! Навет – чистое дело. Должны же подтвердить мужики, что не он убивал. Они же видели со стороны. Пусть власти спрос учинят трактирщику. Мокей видел его на крыльце. И сенных девок спросят. Те обязательно скажут, кто кинул в Мокея кирпич и угодил в башку купчине.

Утром в бревенчатую каталажку явился урядник при шашке, а с ним пятеро стражников с ружьями. И цепи принесли. Благо, в этапных тюрьмах от Санкт-Петербурга до Тихого океана не было недостатка в кандалах.

– Неможно то! Неможно! За безвинность в цепи не куют! – отпрянул Мокей, но его прижали к стене и, как он ни сопротивлялся, связали, а потом пришел кузнец с инструментом и оборудовал Мокею обновку от царя-батюшки – век не износить.

Когда вывели Мокея из каталажки, само небо будто лопнуло от негодования за учиненную несправедливость и ударило громом. Стражники с ружьями перекрестились. Мокей обрадовался: гремит небо-то, гремит!

«Хоть бы прибило!»

Гроном не прибило, а дождем прополоскало. С бороды ручьями лилась вода. С войлочного котелка дождь лился за шиворот. Плечо заболело от взмокшей повязки, но Мокей не обращал внимания: не такое переживал!..

В новом деревянном доме Нижней земской расправы Мокея встретил следователь Евстигней Миныч до того радостно, будто к нему привели не убийцу-разбойника, а ближайшего родственника.

– Милости прошу ко мне в присутствие. В кабинетик. В кабинетик, – приглашал Евстигней Миныч, и даже лысина его стала розовой от умиления. Сам распахнул дверь кабинета, куда и ввели Мокея, усадив у стены на деревянный стул.

Один из стражников попросил дозволения выйти в коридор и там закурить.

– Закурить? – Евстигней Миныч хитро прищурил зеленоватые глазки. – Курите здесь, в присутствии. И угостите человека, – показал рукою он на Мокея.

– Не потребляю, – отказался Мокей.

– Не курите? Или бросили?

– Отродясь не курил.

– И водочку не потребляете?

– Не потребляю. Срамно то.

– Ах вот так! Совершенно правильно – срамно. Я придерживаюсь такого же мнения. Не курю, не пью. Потому – родитель мой держался старой веры. Слыхали про такую веру?

– Отринул то.

– Кого «отринул»? Старую веру?

– Бога со угодниками и со Иисусом также. Как не бымши.

– Безбожник окаянный, – проворчал стражник.

Евстигней Миныч строго заметил стражнику:

– А вот этого я вас не просил делать: вставлять ваши замечания. Попрошу впредь молчать.

– Слушаюсь, ваше благородие.

«Эко благородие лысое да мордастое!» Мокею впервые в жизни довелось встретиться с представителем власти Российской империи, и он еще не знал ни чинов, ни рангов людей, вершащих расправу над нижним сословием – крестьянами.

– Начнем с вашего кошелька. – Евстигней Миныч показал Мокею мешочек. – Из какой кожи он сшит, любезный?

Мокей подумал: отвечать или нет на спрос? Если бы он был в общине единоверцев, понятное дело, молчал бы. Ну а тут как быть?

– Пошто в цепи заковали? Не убивец я!

Евстигней Миныч сладостно пропел:

– Но ведь купец Гаврила Спиридоныч Тужилин убит? Не так ли? Понятное дело, в драке. Но ведь убит.

– Не я убивец, говорю. Откель кирпич у меня взялся бы?

– Вот я и буду вести дознание, чтоб установить, кто же убил купца. И если вы невиновны, будете оправданы и цепи снимут. Но для того чтобы доказать, что вы не убийца, дознание должно установить, кто же истинный убийца.

– Возчик купеческий шибанул кирпичом. Также было.

– Прекрасно. Так и запишем в протокол. Но прежде всего надо установить, откуда вы приехали в Ишим, куда едете и где взяли вот этот кошелек с тремя золотыми и серебром три рубля с пятиалтынным. Откуда такие деньги?

– Того не будет.

– Чего не будет?

– Дознания. Ни к чему то, скажу. Еду по Сибири место глядеть. Более ничего не скажу, благородие.

– А вот кошелек ваш сказал кое-что, представьте! Он сшит из кожи убитого каторжника. Не так ли?

– Эко! Умыслили. Из лебединой кожи шит.

– То есть как из лебединой?

– Из лебедей, какие в Поморье залетают. На озера там.

– Так вы из Поморья?

Молчание.

– Это же очень далеко!

– Не близко.

– Так и ехали один?

И тут Мокей признался:

– С общиной ехал. От самого Поморья. И на Енисей потом ездил место глядеть. Возвёлся в общину, и беда пришла: сына мово Веденейку, чадо милое да разумное, старцы-сатаны под иконами удушили!.. Оттого и Бога отринул. За душегубство то. И ушел из той общины, яко не бывши там.

– Удушили сына? Вашего сына? Веденейку? Но за что же? За что?

– За туман тот, за Бога того! Под иконами на тайном судном спросе удушили!.. Чадо мое махонькое, благостное, по шестому году! Яко от еретички родился. И Бог то зрил и силу дал душителям!..

Евстигней Миныч посочувствовал:

– Сына вашего! Веденейку! По шестому году... Какое горе!

Мокей ответил стоном:

– В грудях кипит. Исхода не вижу от такого горя. Туман будто перед глазами.

– Понимаю, понимаю...

Евстигней Миныч обрадовался. На первом же допросе тонким ходом он раскрыл преступника: кто он и откуда! И мало того, получил ошеломляющее сообщение об убийстве ребенка в общине еретиков. Это же дело для Верхней земской расправы! Губернатору доложат, и он, Евстигней Миныч, сразу вырастет на целую голову. Как же будет посрамлен становой пристав, почитающий себя за знатока каторжан!.. Надо сию минуту идти к исправнику и сообщить потрясающую весть. А там – выезд с исправником в общину раскольников, дознания, и под стражу возьмут не только одного разбойника!..

– Вы сказали, что сына вашего Веденейку удушили под иконами на тайном судном спросе. Но, помилуйте, что же мог отвечать ребенок?

Мокей спохватился, да было поздно.

– Про чадо мое спросу не будет, благородие. Мое чадо – мое горе. Не вам то ведать.

– Как же так не нам? Кто же должен наказывать преступников?

Мокей подумал. В самом деле, кто же должен наказать душителей Веденейки? Бог? Мокей отринул Бога. Общинники? Они готовы были растерзать самого Мокея. И убили бы, если бы не подросла подружия Ефимия.

– Мое горе со мной в землю пойдет, – решил Мокей. Нет, он не назовет никого из общины. Ни подружии, ни бесноватых апостолов, ни Третьяка с Микулой.

– Так, значит, вы из общины раскольников, которая остановилась у Ишима?

– Про общину спроса не будет.

– Как так не будет?

– Не будет, и все. Про купца спрос ведите.

– Нет, нет, любезный. Прежде всего мы установим вашу личность, опознаем, возьмем под стражу душителей вашего сына Веденейки, а тогда и про убийство купца будем говорить.

– Не будет того! Не будет! – гаркнул Мокей.

– Позвольте нам знать, как вершить дознание!..

Евстигней Миныч потирал руки. Он сейчас явится к исправнику – и тогда...

Завязь седьмая

I

Ефимия молилась, молилась...

Кутаясь в суконное одеяло, подложив под ноги Мокееву меховую тужурку, не поднималась с коленей седьмые сутки. Рядом поставила глиняную обливную кружку и медный чайник кипяченой воды, сухари в плетеной корзиночке, вот и вся снедь для епитимьи. Теряя силы, падая головой в землю, мгновенно засыпая. Час-два забытья, и снова молитвы и земные поклоны. Ноги то деревенели, то отходили. Правая рука до того отяжелела, что с трудом подымалась, чтобы наложить крест. Много раз прочла по памяти Псалтырь, откровения апостолов, а просветления не было.

Виделся Веденейка. Кудрявый, говорливый, как первозданный ручеек в камнях, синеглазый, как Мокей. Вспомнила, как Филарет гнал ее от сына, чтоб не искушала чадо. Но она постоянно тянулась к сыну, и Марфа Ларивонова помогала в том. Веденейка у груди лежал, как вечное тепло, чем жива мать.

Удушили Веденейку...

«Под Иисусом удушили. И Бог то зрил и силу дал душителям...»

Чадно. Жутко.

«Есть ли ты, Боже?!»

Ни ответа, ни успокоения.

В переднем углу на божнице не осталось ни одной иконы, какие когда-то повесил старец Филарет. Ефимия убрала их, упаковала в дерюжку и перевязала веревкой.

Молилась только своей иконке – Богородице с младенцем.

Если свечи, догорая, гасли, Ефимия ползком добиралась до лавки, зажигала новые, ставила на божницу, опять падала на колени, отползая на свое место.

Трижды за неделю в избушку стучался Лопарев.

– Ефимия, ради Бога, открой! Ты уже уморишь себя на молитве! Разве это нужно Богу, подумай? – увещевал он, получая неизменный ответ:

– Не говорить нам, Александра! И зрить тебя не могу. Если кто вломится в избу, огнем себя сожгу. Не трожьте меня, и Господь пошлет мне просветление...

Но увы! Просветления не было...

Как там случилось, Ефимия и сама толком не знает. Вскоре после полуночи, сторбившись на коленях, Ефимия забылась в тяжком сне, и вдруг почудилось ей, как в избу налетели черные коршуны и, свистя крылами, кружились, кружились. «Ехидна, ехидна! – кричали черные коршуны. – Змея стоголавая! Кара тебе, кара!» Потом все стихло, и с шумом распахнулась дверь. Вошел Филарет. Белая борода тащилась через порог. Старец подобрал бороду руками, поклонился Ефимии, потребовал: «Оглаголь апостола! Оглаголь!» – и тут же исчез, как дым ползучий.

Ефимия протянула руки к иконке, лик Богородицы посветлел, и уста открылись – живая будто.

«Слушай меня, благостная, – молвила Богородица. – Праведница ты, сиречь того – мученица. Господь покарал мучителя твоего – глагола лишил и руку отнял, чтоб не крестился еретик. Не зрить мучителю Царства Господня! Гордыня обуяла мучителя. Железо железом правил. За око око рвал. За ребро ребро ломал! Не по-Божьи то, по-бесовски. От гордыни и лютости. Еще скажу тебе, благостная: Третьяк, дядя твой, со Калистратом погубят общину. Калистрат нацепил себе на грудь крест золотой. С тем крестом старец-мучитель огнем огонь крестил,

смерть сеял вместо жита, и стала возле него пустыня. То исполнится при Калистрате: пустыня будет!..

Слушай меня, благостная! Как лист рябины росой умывается, так и ты прозреешь, и благодать будет. На грудь надень рябиновый крестик, и ты очистишься. Покой и твердь – счастье твое».

Ефимия очнулась от забытья, испуганно перекрестилась: «Знамение было, знамение!..»

Поспешно подползла к лавке и поглядела в оконце – тут она, рябинушка. Сияет будто. Ефимии невдомек, что за окном сизая рань рассвета и на отпотевших листьях рябины – световые блики. Она видит свое: рябина воссияла. В переплетении ветвей увидела крестики. Множество крестиков. И Богородица с младенцем стоит под рябиной и зовет:

«Выйди ко мне, благостная! Спасение будет под рябиной!..»

Ефимия отпрянула от окна, вскрикнула:

– Богородица Пречистая, прозрела я! Прозрела! – и, не помня себя, кинулась к двери. Долго возилась с запорами, наконец открыла дверь, упала на пороге, тут же вскочила, забыв про одеяло, и в одной нательной рубашке подбежала к рябине, обняла ее и медленно боком повалилась возле рябины, теряя сознание.

Один из караульщиков заорал что есть мочи:

– Ведьма! Ведьма! Ведьма! – и дай бог ноги.

Вслед за ним очнулся от сна Микула. Увидел что-то белое под рябиной и вскинул ружье. «Спаси Христос!» На счастье Ефимии, Микула до того перепугался, что, взведя курок, забыл поправить кремь. Трижды щелкнул, а ружье не выстрелило. «С нами крестная сила!» – попятился Микула и, бросив кремневое ружье, приударил такой рысью, что на рысак не догнать.

Переполюх караульщиков разбудил Ларивона. Мокей, может, явился?

Выскочил из избы да – к Мокеевой. Дверь распахнута, горят свечи, а в избе никого.

Со всего становища бежали люди. Тут и Ларивон увидел Ефимию под рябиной и подскочил к ней.

– Ефимия! Ефимия!

– Слышу, слышу, Богородица Пречистая! – отозвалась Ефимия, подняв голову. – Ларивон? Ты што здесь? Видение было мне!.. Богородица явилась под рябиной!.. Третьяк и Калистрат погубят общину. Народ надо созвать на всенощное моление, и я скажу волю Богородицы.

Ефимия даже не подумала, что ночь минула и настало утро...

Суеверные старообрядцы ахнули: «Погибель будет! Погибель!..» Калистрат не на шутку перепугался и приказал, чтоб сейчас же несли Ефимию в избу: «Она сама не в себе».

Хитрый дядя Третьяк только что вернулся из города Ишима с верижниками Никитой и Гаврилой и прибежал к избе Мокея запыхавшись.

– Глядеть за ней надо, глядеть, зело борзо!

Человек шесть верижников подвинулись к Третьяку. Зло на зло катят. Готовы лезть в драку.

– Благостная Богородицу зрила, а ты ее порочишь! Через тебя погибель будет!

– Через меня? – гаркнул Третьяк. – Через Мокея-еретика погибель ждите! Пошто отпустили еретика? Мы вот с мужиками в Ишим ездили и узнали там: Мокея в чепо заковали. Купца проезжего убил, зело борзо!.. А вдруг проведает, что Мокей из нашей общины, тогда каким крестом открестимся от стражников да урядников, от станового да исправника али губернатора?!

Верижники притихли: правда ли то? Ужли Мокей в цепях, как убивец?..

II

Третьяк с Калистратом накинулись на Ефимию: и такая, и сякая, и Богородицу опорочила срамными устами, и никакого видения не было. Сама себя уморила на молитве, ума лишилась да еще навела смуту на единоверцев паскудным реченьем. И что, если будет совращать людей, ее свяжут, запрут в землянке и епитимью наложат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.